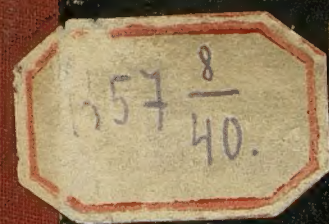


ВЛ. ПАДУЧЕВ

ЗАПИСКИ НИЖНЕГО ЧИНА

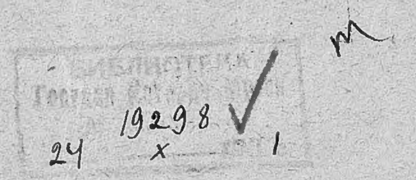
МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

ВЛ. ПАДУЧЕВ

ЗАПИСКИ НИЖНЕГО ЧИНА

1916 год

МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
1931



Главлит № А 72058.—Тираж 4000 экз.—7 печ. лист.

Типография Первой Артели Сов. Печатник, Моховая, 40.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

В этой книге показан быт, настроения, думы и чувства русского солдата в период затишья 1916 года, перед февральской революцией.

В литературе последних лет жизнь фронта отражена разными авторами, но немногие из них находились в гуще солдатской массы и видели эту жизнь не глазами стороннего наблюдателя, а изнутри, в непосредственной близости.

Настоящая повесть исходит от солдата, находившегося в боевой части, видевшего у костров и в землянках жизнь своих товарищей, страдавшего вместе с ними от огня, вшей, грязи, от солдатских лишений и окопной тоски. Здесь описано то, что было: живые, сохранившиеся в памяти, лица, их действительные речи, подлинные солдатские песни.

Цель автора—в рассказе о пережитых днях показать живой облик русского солдата, этого большого страдальца, задыхавшегося в окопах империалистической войны. Очерки не имеют сюжетной формы, в них отсутствует описание сражений,—автор хотел показать будни войны, ее изнанку в окопах, без всяких прикрас и маскировки, вспоминая забытые дни.

Насколько это удалось, скажут другие.

* * *

Не дождаться нам отрады,
Не дождаться мира нам.
Через нас летят снаряды,
А в окопах сыро нам.

Солдатская песня.

---

1. Судьба играет человеком.

Гулко ударил над лесом одинокий выстрел. Раскололась и вновь сомкнулась тишина. Осветительные ракеты поднимаются и падают на землю цветами голубых огней. Фронт сторожит. Тоска.

В туманную дождливую ночь лучше забыть о невозможном. Пропала безвозвратно моя вольная жизнь, и потухла радость недавних очарований.

Вот окончен последний экзамен. Пришла цветущая неповторяемая весна, на улицах появились первые фиалки. Дурманило в груди от буйной легкости двадцати четырех лет, был исключительно хорош наступивший беззаботный май, и жизнь открывалась в просторах, как берег реки сверкающим весенним утром.

Несется шум кипящего города, в открытое окно моей студенческой комнаты с пятого этажа видно, как синий дым стелется по крышам. Внизу, на согретых камнях двора, суетится человеческий муравейник. Из глубины замощенного колодца смело начинает незванная шарманка грустно-знакомый напев:

И призадумался великий,
Скрестивши руки на груде-э:
Он видел огненное море,
Он видел гибель впереде-э...

Старательно рассказывает певец мудрую повесть о жизни человека:

То вознесет его высоко,
То бросит в землю без следа.
Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда...

Оборвалась песня и понес дальше уличный артист свой наивный романс, но слова эти запали в мое сердце и об них вспоминаю я в эту туманную ночь:

«Судьба играет чи-ла-ве-ко-ом».

Судьбы нет, есть случай в узорах успеха и неудач, но я чувствую холодные пальцы, бросившие меня на новые пути. Если бы тогда, после наивной песни шарманочного миннезингера, уличная гадалка наворожила, что предстоит мне дальняя дорога и в тысяча девятьсот шестнадцатом году мне придется защищать свое отечество на далекой границе, я посмеялся бы ей в неверные глаза. Но в стихии больших чисел, тасуя человеческую колоду, судьба-случай перекинула меня на невидимых качелях за тысячи верст, и я превратился в солдата. Измятая, в пятнах застывшей грязи и колесной мази, шинель,—все мое имущество: я младший канонир третьей батареи, и в этом единственная правда сегодняшнего дня. Лекции, уроки, лихорадочная подготовка к экзаменам, литературные вечера, «Ревизор» с пятого яруса в Александринском театре, последние дни студенческой жизни, последние минуты на Петроградском вокзале и под стук колес оборвался тот период моей жизни. Путь к возвращению закрыт навсегда. Надежды и очарования прошлых дней рассеялись, как дым от шрап-

нели, но смутные образы все еще волнуют мое сердце. Только восемь месяцев отделяют меня—канонира—от вольной жизни, а все представляется далеким недоступным сном. Тому уж не вернуться, как неповторяемому детству, это то, что было, и то, чего не было...

Сегодня вечером, когда кухня привезла ужин, дежурный телефонист Михайлик, как всегда не во время, закричал на всю батарею озорным голосом:

— Второй взвод к бою!

Мы стреляли взводом—третье и четвертое орудия—по цели номер восемь.

Так обозначена лощина на участке пятой роты, где с наблюдательного пункта заметили в окопах земляные работы. После десятого выстрела Михайлик передал команду:

— Сто-ой:—от-бой.

Можно было пить из кружек остывший чай и не думать, куда и в кого попали наши снаряды.

Солдаты, мои новые товарищи, набраны из разных деревень. Простые, как зеркало, утомленные лица, но у каждого из них своя особенная жизнь, оставленные семьи и тоска о прошлом. В их глазах горит неостывающая грусть о той жизни, недоступной, как сон.

Кто из них раньше думал, что в августе шестнадцатого года нам придется занимать позицию в этом лесу. Разве я знал, что буду дневалить у орудий, подбрасывать в затухающий костер дрова и сухие листья, закуривать от горячих углей и мучительно ждать смены.

Ночь темна, как в арабской сказке. На дереве за двадцать саженей впереди мелькает красной точкой фонарь, по которому ночью орудия отмечают свое направление: точка отметки.

Кажется, что слабая огненная точка, боясь потухнуть, тоскует вместе со мной:

— Эх, скорей бы, скорей дождаться смены.

Но в эту дождливую ночь нужно забыть о невозможном.

---

2. В блиндажах на позиции.

— Это что такое? — Спрашивает наводчик Антонов, хлопая ладонью по длинному стволу орудия.

Все выжидательно смотрят на молодого, плохо обученного солдата.

— Что? Ну, орудия, — неуверенно отвечает он.

— О-ру-дия, — ты скажи, как она называется.

— Чего-ж тут, ну, трехдюймовая орудия.

— Сам-то ты трехдюймовый. Это вот что: полевая трехдюймовая скорострельная пушка образца 1902 года. А то скажет, чего не надо.

Батарея вытянулась на позиции, разделив орудия ровными промежутками по десять сажень. Не считая орудийных фейерверкеров и телефонистов, каждая пушка нуждается, как ребенок, в постоянном уходе восьми номеров, и боевая часть батареи составляет артель более семидесяти человек.

Помещаемся мы в землянках рядом с орудиями. Это особый вид сооружений, предназначенных для защиты от выстрелов тяжелой артиллерии, почему и называется блиндажем. Сначала роется яма не меньше двух сажень глубиною, к ней подрываются выходные ступени для спуска, а сверху до самой поверхности земли поднимается непроницаемая крыша из загубленных тяжелых деревьев.

Замертво врастают в землю деревянные накаты, утрамбовываются и создают надежное укрытие для номеров в те трагические часы, когда батарея попадает под артиллерийский огонь.

Высота и вместимость землянок так ограничены, что там может быть только два положения: лежать или сидеть по турецки. Если все девять человек спустятся в блиндаж, для десятого не остается места. Мы сознательно избегаем простора внутреннего помещения своих укрытий: во-первых, потому, что чем меньше коробка блиндажа, тем он безопасней и надежней; во-вторых, за ним меньше работы, да и теплее в нем холодной осенней ночью, когда, сжавшись под шинелью, человек человека греет. Пусть тесно, как в консервной банке, но зато:

— На всякий случай оно надежнее, опять-же теплей и работы меньше...

Внутри блиндажей всегда полумрак, крепкая сырость земли, и воробьиное чириканье неуловимых полевых мышей. Но у каждого орудия для всех его номеров блиндаж является домашним очагом, местом отдыха и ночлега. Здесь-же на соломе лежит хлеб, ранцы, ведра и котелки,—все несложное имущество номеров.

Неделю назад солдатам выдали жалованье. Любители карт успели проиграть свои семьдесят пять копеек в первый свободный вечер. Во всей батарее в выигрыше остались трое лучших игроков. Они поделили между собою все деньги и сейчас доигрывают в землянке первого орудия в двадцать одно до „победного конца". С утра моросит назойливый мелкий дождь. Блиндаж первого орудия забит до отказу желающими видеть состязание лучших игроков, как на шахматном турнире.

У нашего орудия все номера проигрались вчистую. Чтобы убить хмурую скуку вечера, придумали играть

в подкидного на интерес; условие—кто проиграет семь раз подряд, должен сходить к колодцу за водой, согреть своими средствами ведро кипятку и угостить всех чаем.

Веселая игра в полном разгаре. С азартом шлепают об колоду карты. Больше всех волнуется Фетисов, по прозвищу—валет. Несмотря на свои сорок лет, он ниже всех ростом. Редкие усы на моложавом подвижном лице придают неуловимое сходство с валетом червей. За это и прозвали его:

— Валет и валет.

Фетисов на это прозвище нисколько не обижается. В веселую минуту он сам для потехи представляет валета, как он родился от короля и графини, как он ходит гулять с метлой и топориком и как кушать садится.

— Ходи, валетина, вот тебе бубновая краля.

— А у меня винновый туз—получай.

— Как ни крутись, а валету сидеть.

— На, тебе козырную шестерку...

— Ах, дьявол, ты козыряешь—н-на...

— Пойду и я.

— Умен болгар.

— Под крестей.

— Мои вини.

— Давай туза-то бубнового, давай.

— Под валета десятку.

— Обратно получай.

— Юс и валету оставаться.

— А раньше-то он оставался.

— Возьми его за рупь за двадцать.

— Покрути хвост мерину, а не мне.

— Ходи, соломатник.

— Да не трожьте вы валета, ребята; он с королем жил и всякие вещи знает.

— Валет, ну скажи, пожалуйста: ты и свиней у него пас?

— Будет болтать зря: сви-ней. Он котлетами каждый день завтракал—я, говорит, росбифы люблю. Валет, ты-бы хоть когда нас жареным мясом угостил,—всю орудию. Что тебе, жалко, что-ли.

— Да-а ты много жареного-то видал. Что к чему знаешь, голова. Ну, и молчи.

— Я, говорит, без соуса не люблю.

— За такое дело есть ты не валет, а шестерка.

— Получай под козыря.

— Бьем.

— Давай еще.

Игра продолжается. Неслышной холодной тенью вползают в блиндаж сумерки неприветного дня. Только одни дневальные остались наверху у орудий.

С крутой грязью на облепленных сапогах дождь забирается в землянку. Я ложусь на остатках соломы и, покрывшись влажной шинелью, засыпаю под веселый азарт подкидного. Сквозь сон слышно, как валет, при взрывах общего смеха, отчаянно матерится в бога и чорта и, громыхая ведром, вылезает из блиндажа.

* * *

Ночью дождь перестал. Номера выбегали из блиндажей и зябко лепились у костра, растирая застывшие руки.

— Чтой-то рано встали, ребята.

— Как у тещи в гостях...

— Жарко стало.

— Ну, и дож—насквозь промочил, дьявол.

— До самых сподников промок, а вошь, как окаянная, в мокром белье хуже кобеля кусается. Всего искровянила.

— Ее хоть дави, хоть нет:—сильнее человека.

— И есть она внутренний настоящий враг каждого солдата.

— Ну, закуривай, закуривай, земляки, нынче будет тепло.

Занималось широкое светлое утро. Трава и полевые цветы улыбались в искрах веселой росы. Земля нагревалась, отдавая теплый пар.

Из-за бугра выехала кухня.

— Номера, к бо-ю: мортирная едет. — Прозвенел чей-то голос в рупор ладоней.

На солдатском языке «мортирной батареей» называлась кухня. Вертикально поставленная кухонная труба напоминала короткий ствол мортиры, поднимающийся до отвеса.

Кухня остановилась у шестого орудия, где с ведрами, котелками и медными баками ее встретили веселой толпой номера.

— Сегодня кипяток привезли рано.

— Мортирка молодец.

— Пей, водохлеб,—это не водка.

— Эй, подходи, не задерживай.

Кашевар Маркелов, переведенный в обоз из строевых только два месяца и очень довольный новым положением, весело улыбается.

— Какого дьявола они там базар затеяли,—кричит недовольным голосом взводный фейерверкер Харченко, делая строгое лицо.—Э-эй, номера, будет там с ведрами брехать-то: налил кипяток и айда. Пошел в обоз, Маркелов, а то как раз угадаешь на аэроплан. Тогда всем купаться.

Кухня медленно поворачивает неловкое железное брюхо и едет в обоз, мелькая в кустах дымящей короткой трубой.

Вокруг затухающего костра и около орудий номера располагаются группами. Размешивая перочинным ножом сахар и обжигая губы о край медной кружки, Харченко звонко хлебает чай. У него строгий вид взводного унтера, подстриженные в жесткую щетку усы и почтенная цепочка на груди к часам за отличную стрельбу. Но как-бы ни хмурился наш взводный фейерверкер, я знаю, что у него простая детская улыбка, что никогда он не злоупотребляет своим положением, никого не подтягивает и не любит отличать себя от номеров. Никто не называет его, как это полагается, «взводный» или «господин взводный», а обращаются к нему:

— Слушь-ка, Харченко, сколько у нас в передке гранат-то?

— Петр Васильевич, надо сапоги смазать.

Или просто:

— Петька...

Условия кочующей походной жизни в постоянной близости противника, с равными шансами на жизнь и смерть, спаивали номеров в тесную и дружную семью. Уклад жизненных отношений был проникнут равенством и дружбой, как у первобытного племени на охоте. Каждое орудие объединялось в маленькое подвижное хозяйство, где сообща хранится хлеб, чай и сахар, вся артель добывает себе воду, строит общим трудом землянку и все вместе работают в бою у своего орудия, превращаясь в части живой машины.

Батарея представляла собою крепкий и сложный организм, построенный в железном опыте столетий. Стрельба орудий основана на строгом разделении труда: наводчик работает у прицела и панорамы, замковый—у затвора, правильный—у хобота, поворачивая лафет, установщик трубок ставит шрапнель по делениям. Все движения

заранее редусмотрены, рассчитаны и точно распределены между номерами, как в механизме верных часов.

В любое время дня и ночи, летом или зимой, хотя-бы в вихрях снежного бурана, батарея должна быть готовой к исполнению команды:

— Номера к орудиям, батарея к бою.

По этому сигналу все шесть орудий должны приготовить выстрелы немедленно и точно, как закаленная проверенная пружина. Две часовых стрелки требуют для своего движения системы рычагов и шестерен, а батарея пушек нуждается в постоянной работе двухсот пятидесяти человек и такого же числа лошадей. Нужны телефоны, зарядные ящики, инструментальные повозки, кухни, обоз с запасом снарядов и продовольствия и самое разнообразное имущество.

Батарея раскинулась в глубину на десять-пятнадцать верст: впереди в двух верстах расположены наблюдательные пункты, на полверсты позади орудий укрылись под ветлами передки с запряжками лошадиных шестерок, дальше на три-четыре версты обоз первого разряда или «резерв» с кладью тяжелых запасов.

Много поколений прошли тяжелый и кровавый путь, чтобы создать механизм шестиорудийной батареи, в том виде, как она есть сейчас. Медленно и осторожно двигались они по этому пути в сумерках столетий, совершенствуя средства для уничтожения себе подобных. И пушкари стрелецких полков, проходя по пыльным дорогам через эти поля, не могли себе представить скорострельных трехдюймовых пушек, которые будут стоять вот на этой позиции.

Раскинувшись на пятнадцать верст, батарея выделяет орудия вперед, как самую главную боевую часть. Номера считают себя самыми нужными людьми и к ос-

тальным командам относятся с добродушным пренебрежением:

— Что ты в резерве-то окопался. Задницу греешь у кухни и сидишь. Походи-ка вот здесь, да посмотришь кузькину мать, да поворай, тогда правда...

Взводный фейерверкер Висков, лежа у костра под шинелью, так объяснял своим номерам основные правила поведения:

— Главная вещь, что орудия должны быть всегда, как живыми, а кровей своих у них нет и потому первое для нас дело: не зевай. Ложись в блиндаже спать хоть без штанов: мое какое дело. Но уж если скомандовали „к бою“, тут уж штаны надевать некогда—это не с бабой на печке. А кто в чем есть, гони к орудиям: разувши, так разувши, штаны если скинул, катай в сподниках, небось не сахарный. Главная вещь, каждый должен сочувствовать: пока ты станешь обуваться да шаровары натягивать, он тебя скорее в лапти обует. А тогда казнись.

Хорош утренний чай в просторе вольных полей, в обещаниях летнего дня. Медленно остывает горячий кипяток. В такой день должна кончиться война... Но она не кончилась, и дальнозоркий, как орел, Желтиков подходит к зарядному ящику первого орудия и подозрительно смотрит немигающими глазами в пространство, в светло-голубую даль.

— Летит, ребята,—сообщает он.

— Будет брехать, чего не надо.

— А я говорю—летит: во-он он.

— Да где ж ты видишь-то? Вот, дьявол.

Жмурясь от солнца, Харченко старается поймать глазом невидимую точку:

— Ни мышиной соринки не видать—один воздух.

— Да вон смотри прямо через орудию, за лесом-то вышел. Теперь видишь?

Глухой рокот пропеллера, по эфирной волне, несется из далеких высот. Над лесом, в полутонах светлого неба, появляется недоступная точка, она несется по воздуху, заметно увеличивается и на глазах вырастает в птицу. Серый контур с распущенными крыльями теперь отчетливо виден всем.

Птица летит к нам.

Из землянки шаром выкатывается на коротких ногах смуглый, веселый, с шапкой курчавых, как у негра, волос телефонист Донских:

— С наблюдательного команда: немецкий эроплан— замаскировать батарею.

Бисков, не обращая на эти слова никакого внимания, смотрит в бинокль:

— Вот сатана, людям чаю напиться не даст,—ворчит он в белые усы.

И вдруг грозным басом:

— Ма-скируй батарею. Номерам укрыться.

Закипает работа: ведра и котелки—кубарем в землянки, топоры—под солому, на орудия и ящики—снопы скошенного овса с зеленью порубленных веток, номера— по блиндажам быстро хоронись...

Аэроплан гудит с нарастающим гулом, как стальная пчела, вот ближе и ближе.

— И чего летаит, свинья ему в печенки. Сидел бы в штабе с сестрицами: и себе удовольствие и людей бы не беспокоил.

— У тебя не спросил.

— На него-бы сейчас да истребителя выпустить, вот-бы...

— А раньше-то ты видал: и-стре-би-теля. Где он у тебя истребитель-то, на кухне, с порциями что-ли?

— Наши летчики порядок хорошо знают: какие есть, и те в штабе корпуса, в тылу у зеленой рощи вокруг баб окапываются.

— Энтим нужда здоровая летать—нашел дураков.

— А что от него толку, если он и пожелает на своем ероплане лететь. У него машина-то, что разбитая телега: к ней ручку приделать, да зашвырнуть... Куда-ж она годится летать против людей-то. Курам на смех.

Поставленные в тылу аэропланные взводы уже открыли огонь. Выстрелы гремят в воздухе звонкими раскатами, но каждому солдату известно, что попасть из наших пушек в воздушную цель так-же легко, как найти в лесу клад. Аэроплан почти не рискует при „меткости“ полевых орудий, совсем неприспособленных для борьбы с воздушным противником.

Шрапнель рвется в воздухе, расплываясь белыми тающими пятнами. Кажется, что вот этот развернувшийся кусочек ваты попал в самую цель, вот уже закрылся пропеллер, но аэроплан спокойно плывет дальше через белую вуаль и разрывы сопровождают его, как воздушная свита.

Харченко не переваривает аэропланов. Одна мысль о них портит ему настроение. В ясные дни, предчувствуя полеты, он с утра беспокойно поглядывает на небо:

— Теперь жди гостей, в глаза, в печенку, в пропеллер... Нонче будут...

Свои орудия Харченко успел замаскировать раньше всех и во избежание всяких недоразумений поспешил спуститься в блиндаж. Оттуда, как из пещеры, доносится его заглушенный голос:

— Чекмарев, тебе говорят укрыться, слышь, что-ль? Ну, чого зря ходить? Что ты ероплан не видел? Какой

интерес явился, подумаешь. Ну, летит и леший ему в спину, чтоб ему ни дна, ни покрышки. По мне сроду бы его не видать, — вещь какая. Эй, скатывайся в блиндаж, а то по кумполу как бы сверху то не настукали.

– Петр Иванович, да ты посмотри сюда-то, с пулеметом, во-он чернеет впереди. Здорово видно.

— Опять свое—да что ты пулеметов сроду не видел,—возмущается Харченко.—Поди вон в Смоленский полк в окопы, да смотри. Катись, говорю, в окоп, Ванька. Он, брат, летает,—я вижу?—а вот как заметит батарею, да начнет полоскать из грязных—тогда как запоешь? Давай не надо.

— Балашов,—испуганно вспоминает он,—а ты свои сподники-то прибрал? Где они? Головушка моя бедная, да он хуже бабы: он их у орудия оставил. Убирай скорей к свиньям собачьим, да нагибайся, себя-то маскируй, дурной. Глянь там на траве-то, Балашов, не бросили еще чего ребята, ведра-то где? А бак с кипятком, все убрали. Теперь вались все в окоп — ну вас. Ведь русским языком говорят: чего здря ходить.

Аэроплан несется прямо через батарею, сверкая на солнце. На него больно смотреть. Кудрявые разрывы стелятся белыми пятнами и тают в небе.

Шрапнельные пули и осколки, безвредные наверху, рассыпают по земле сухой опасный дождь. Слышно, как несколько пуль крепко ударили в стальной щит орудия, отскочили и шлепнулись на землю. Близко зафурчало что-то над верхом блиндажа и с неприятным шумом скользнуло по траве.

Наводчик Пономарев выбегает из землянки и возвращается с разорванным осколком неостывшего трехдюймового стакана:

— Ну-ка, Харченко, получай гостинчику. Домой поедешь, своей бабе отвезешь.

— Этакая вещь в затылок человеку шлепнет и отпахался.

— Чистая работа: по ероплану бьют, а своих железным горохом засыпает.

Аэроплан летит уже над передками и быстро уносится в тыл, сопровождаемый тающими пятнами разрывов.

Номера спешат выйти из блиндажей на горячую землю. Стелется воздух теплой душистой волной.

Но не даром Харченко хмурит брови и озабоченно посматривает туда. Скоро появляется новый аэроплан, за ним еще два и до самой темноты безнаказанно и свободно летают над нами зоркие чужие птицы. Батарея скована по рукам и ногам: не только выстрел на глазах аэроплана, но какая-нибудь неосторожно брошенная портянка или сверкнувший на солнце котелок могут обнаружить позицию. Тогда мы превратимся в цель и будем расстреляны дивизиями тяжелых батарей, которые стоят на этот случай против нас.

Только туман и ненастье прекращают беспокойные пулеметы, а чуть засветит солнце—батарея беспомощно врастает в землю.

По землянкам невеселые разговоры.

— Скомандовал умный дураку—равнение на небо, а ты смотри, как тот козел...

— Воздух задарма прохлебали, твою мать,—говорит безнадежным тоном кузнец Кирюша, пришедший из резерва проведать земляков.—Он что хочет, то и делает, а ты стреляй, да оглядывайся.

— Сначала у него спросись, а потом ..

— А если без проша.

— Тогда тебя-же и подкует на обе ноги...

* * *

Аэропланы летали свободно. Мы были беззащитны перед ними. Правда, по всему фронту стояли взводы трехдюймовок для стрельбы по воздушным целям, но приходилось поднимать орудия кустарным способом на дыбы и меткость выстрелов была заведомо ничтожна. Солдаты издевались над этой стрельбой, считая ее пустым делом.

С самого утра Харченко поглядывал на небо, доказывая номерам, что сегодня кухня проскочить к нам не успеет и мы останемся без обеда. Но его почтенные, заслужившие полное доверие, часы показали десять, когда пролетел последний аэроплан, номера высыпали из землянок, отдыхая на траве, а наводчик Пономарев начал смеяться:

— Ну, Петька, и врать ты здоров. Где же твои аэропланы? Сейчас кухня приедет, а они сгорели.

— Подожди брехать-то,—упрямо, значительно говорил Харченко,—а то как раз напросишь: он тебе пообедает.

— Да я его, если хочешь знать, из мортирки щами полью.

— Не гавкай, ты, Ванька: кухня-то еще не приходила, а ты выхваляешься.

Пока мы грелись на солнце, поднялась немецкая колбаса—привязной воздушный шар с корзиной наблюдателя. Если аэропланы особенно не любил Харченко, то колбаса пользовалась общей ненавистью. Она покачивается в воздухе, точно шелковая голубая игрушка, недоступно-высокая. Без бинокля не всегда увидишь подвешенную, как на паутине, корзину наблюдателя. Перед глазами противника наш тыл открывался на десятки

верст и тем была опасна голубая игрушка: с нее виден дым костров, выстрелы орудий, одиночные всадники, повозки с сеном, мортирная труба кухни, а по всем этим движениям легко узнать, где стоит резервный батальон, где расположился обоз и штаб полка, где замаскирована батарея.

Горький опыт научил нас остерегаться колбасы больше, чем аэропланов. Недавно не обратившие внимания на поднявшуюся колбасу конные ординарцы из штаба дивизии и беспечное солдатское белье, развешенное в кустах, дали возможность противнику обнаружить место нахождения штаба полка и резервной роты. Как в оркестре без дирижера, началась артиллерийская «соната» из невидимых тяжелых батарей.

Лощина в лесу открывалась перед нами за полверсты, как с балкона. Сначала ударило два снаряда, потом еще два над землянками штаба, а потом загудело очередями злых оводов:

— Бу-ум, бах. Бу-ум, бах...

Стреляли снарядами двойного действия: первый разрыв в воздухе рассеивал шрапнель, а потом рвалась граната от удара в землю. Рвет сверху, потом снизу, сверху-снизу, как железный ураган. Нельзя было видеть стреляющих дальнобойных орудий. Колбаса покачивалась в голубом небе, как глаз злого волшебника.

— Чистая работа,—говорил Кирюша.

— Нашего брата обучает...

— В хвост и в гриву.

— А по шеям дурость выколачивает.

— Сверху жаром поддает, а из-под низу ветерком.

— Белье просушивает.

— Вон он, хозяин то висит, а ты говоришь,—колбаса.

— Как в точку бьет.

— Хитер болгар.

— Повоюй слепой с зрячим: так и этак все его, а не наше.

Разрывы догоняли друг друга с настигающим воем, словно играя в воздухе; тающий дым шрапнели сливался с фонтанами черной земли. Казалось, что прилетели взбесившиеся злые духи.

Дальнобойные орудия противника, расположенные за десять верст, были недоступны для наших трехдюймовок с предельным выстрелом на семь верст. Мы не только не доставали артиллерию противника, но наши наблюдатели со своих бугорков, деревьев и разбитых колоколен не могли даже видеть позицию стреляющих батарей. Улитка стояла перед жирафом...

Дальнобойная артиллерия с помощью воздушных наблюдателей на колбасе и аэропланах окончательно парализовала жизнь нашего тыла. Каждый солдат из обоза чувствовал на себе тяжелый перевес той стороны в бессилии воробья против коршуна. Мы могли бороться только на земле, а они владели воздухом. В одно ясное утро наш аэроплан сделал попытку летать над немецкими окопами, но ему навстречу вылетело три истребителя и обратили его в воздушное бегство. Помнят номера еще и такой случай, когда из штаба корпуса подвезли две гаубицы, а за лесом поднялась наша колбаса. Но не успела она повисеть полчаса, как вспыхнула желтым факелом от ракеты истребителя, а наблюдатели чудом успели соскочить по веревке.

Сегодняшняя колбаса испортила весь день. И нужно же было ей подняться в тот момент, когда долгожданная кухня выехала из резерва. Заметив колбасу, «мортирная» на рысях понеслась в сторону, и остановилась

в передках. Здесь кухня застряла на неопределенное время, ожидая, когда колбаса отпустит „душу на покаяние“. Подъехать к батарее кухня не могла, чтобы не открыть нашей позиции,—тогда с нами поступили-бы так-же, как со штабом полка. Пришлось подождать часполтора, а потом по одиночке, перебежками и ползком путешествовать в передки за обедом.

Кашевар разливал остывший суп под грубо-ласковые шутки ездовых.

В резерв кухня вернулась только вечером.

---

3. Новая семья.

Можно-ли было угадать наперед изломы своей жизни, свою неизвестную судьбу. На пороге молодых дней все радует и цветет в неясных мечтах, а жизнь увлекательно разматывается клубком новых встреч, познаний и откровений. Года прошли, но я помню те дни, слова забытых песен, запах сена, аромат земли и восходы солнца.

На перекрестке многих путей суждено мне было надеть солдатскую шинель, встретить новых товарищей и верных друзей, которых не забыть никогда.

Были грустны первые дни: по дороге я лишился узелка с последними вещами и в землянку третьего орудия вошел чист, не имея ничего. Я остался без шинели, без полотенца и ложки, а осьмушку махорки, за отсутствием кисета, мне пришлось высыпать прямо в карман. Ничего у меня не было, что так нужно солдату,—я чувствовал пустоту и одиночество.

В ранний час душистого солнечного дня сидел я на краю окопа и безнадежно думал, как было-бы хорошо закурить. Но уже три дня назад махорка у меня исчезла, в кармане оставалась горькая пыль и придумать было нечего. Попросить на цыгарку у товарищей? Но я вижу их в первый раз, кто знает, что они за люди, а я

такой человек,—не люблю... Молодой солдат у колеса орудия с равнодушным видом поглядывая на дорогу, не спеша свертывал цыгарку. Я старался не смотреть на него. Эх, дыхнуть-бы только раз-разочек!

Ловко завернув цыгарку, солдат положил остатки газетной бумаги в кисет и молча протянул мне драгоценную скатку, словно он это делал в сотый раз и ничего особенного в этом не было.

Что я мог сказать ему? Волна смутной радости ударила меня в сердце. Я почувствовал, что нахожусь среди людей, в обстановке, где инстинкт товарищества, первобытного коммунизма и солидарности живет с давних времен, от самых охотничьих костров.

— Махорку-то не слышно, когда будут давать,—спросил я равнодушным тоном, сдерживая волнение.

— Кто ее знает, чегой-то все задерживают,—отвечал Чекмарев, (так была его фамилия), зажигая спичку.— Вчера в пехоте земляк мне подарил две осьмушки. Им выдавали, а он некурящий.

Из кухни привезли кипяток. Мы расположились пить чай. У соседнего орудия вспыхнула неожиданная ссора. Шум поднялся на всю батарею.

— Что там орете-то, братишки?—Спросил Харченко.

— Да вот соломатник проспал кухню и всю орудию оставил без кипятка.

Виновник преступления Кавецкий смущенно оправдывался, одергивая полинявшую от солнца зеленую гимнастерку на атлетической мощной фигуре:

— Шут ее знает, как я мог пропустить: все время ведь не спал, а тут на траву лег, солнышко пригрело, я уморился, как на грех...

— И проспал все на свете, как с бабой на печи, дьявол!

— Да ладно уж, будет гавкать-то...

Но орудие долго не могло успокоиться. Надо было отвести душу на чем нибудь, а Кавецкий кругом виноват. Особенно нападал на него Белоусов, такой же атлет, с задорной улыбкой в глазах. Он изощрялся в насмешках, придумывая к общему удовольствию новые словечки и обидные сравнения, пока номера не разбрелись с кружками по другим орудиям. Через час Кавецкий и Белоусов вместе пошли стирать белье, как ни в чем не бывало, а Чекмарев сказал, что они большие друзья и всю войну живут вместе. Пошумели же давеча они:

— Просто так, скуки ради.

* * *

Дни проходили за днями, мешая ненужный календарь. Я назначен номером к орудию. Солдатская семья принимала меня в свою широкую артель.

Что было мне известно раньше об этой доле, о жизни этих людей, их радостях и печали? Обветренные грубые лица, когда по улицам идут они с песней:

Три деревни, два села,
Восемь девок, один я...

Власть фельдфебеля, привитой дух верноподанничества, словесность «унтера Пришибеева», психология дикаря под военным мундиром—так представлялась мне в смутных чертах жизнь солдата и грустно было надевать серую шинель.

Мои сомнения рассеялись, как дым, в первые-же дни. За обедом, в часы отдыха, вечерами в землянке номеров и в бою у орудий я наблюдал жизнь своих товарищей. Как все ново и увлекательно-просто у этих

славных людей, сколько наблюдательности, терпения, ума, горького опыта, накопленного веками, мудрости и таланта.

— Это что—орудие, а ты мне скажи, что сильнее: воздух или вода?—спрашивает в отдыхающей группе наводчик Пономарев.

— Вода все на свете берет: и землю, и камень, и железо.

— А воздух воду, как в котле, поворачивает—значит, она его слушается.

— Врешь, вода не подчиняется воздуху.

— На что огонь—и то вода его тушит, а огонь всех сильнее. Вот.

— Стой, ребята, я скажу слово,—говорит взводный фейерверкер Висков.—Ты говоришь, вода. Ну, вот, ероплан полетит, а он не по воде, а по воздуху, вот ты становись с пожарной кишкой и поливай отсюда, а он тебя оттуда жареным петухом по башке-то. И как думаешь, сшибешь ты его кишкой или небось сам первый, такой супчик, в блиндаж залезешь. А только ты не хоронись, а кишкой-то его ссаживай, потому вода сильнее. А воздух, что—сам говоришь, дым.

Общий смех покрывает удачную речь, а Висков продолжает:

— Так вот оно и получается: Гинденбург в воздухе, а мы на воде, да в самое болото по шею попали и сидим, а он тебя бреет, почем зря.

Пономарев ставит новый вопрос:

— Ну ладно, а вот спросил один мужичок, что тяжелее: воз железа или воз сена?

Долго не смолкает спор, шутки, взрывы смеха, тихие рассказы и песни у потухающего вечернего костра. Незаметно идет время и забываешь о том, что молодость

пропадает, что война испортила жизнь и не все из этих забытых людей вернутся домой, а кто-нибудь из них уже обречен на скорую неизвестную смерть...

* * *

К новому человеку, приехавшему из недоступной желанной воли, оттуда, из тыла, был обращен первый вопрос:

— Ну, а как там насчет мира-то чего слышно? Войну не хотят кончать?

Был «расцвет» шестнадцатого года. Упрямый лозунг войны «до победного конца» висел на всех перекрестках. Сомневаться в победе мог только враг и да поразит его гром небесный! А если часть простонародья начинает уставать, надо беспощадно бороться с упадком духа и с еще большей силой требовать новых жертв, все для отечества и победы. Купцы, дворяне и чиновники стояли на своем, честная интеллигенция и студенты продолжали пылать патриотическим духом, а редакторы газет отдавали свои страницы доблестной армии, ее героизму и готовности переносить новые лишения наперекор презренному тылу, тронутому рукой разложения. Собственные военные корреспонденты продолжали поднимать дух, описывая трогательные подвиги солдата-мужичка, не знающего сомнений и колебаний... до полной победы.

Приезжавшие с фронта в короткий отпуск студенты-прапорщики с чуть заметным оттенком превосходства и раздражения говорили:

— Чорт ее знает, что у вас в тылу делается. Лучше-бы не приезжал. Вот на фронте, все-как один. Да у нас каждый солдат душу отшибет, если ему скажут, что мы не побьем немцев. Тогда для чего было столько жертв

Нет, уж раз начали, так давайте доводить до конца, а наша армия свой долг выполнит.

И, забывая свои сомнения, обыватель верил прапорщику, который приехал с фронта и должен все знать. А проповедь победы бушевала, поднимаясь до ослепленного безумства, опускаясь до грубой лжи, и ложь переходила в издевательство над здравым смыслом. Захлебываясь умилительным восторгом, беззастенчивый журналист посвящал длиннейшую статью, как «молодой, самый нежный цвет нашей доблестной армии рвется в бой, горя желанием исполнить свой долг перед родиной».

Если теперь солдат, мой новый товарищ, спрашивает у меня о войне, я должен сказать ему всю правду. Слушайте, что думают об этом в тылу и как пишут газеты:

— До полной победы.

Тогда Висков, младший начальник третьего взвода— он участвовал во всех боях с начала войны и три георгиевских креста украшали его широкую грудь—мрачно отвернулся и сказал в белые усы:

— У них язык-то не завязан, кто пищет: сиди в стульях, да пиши. А потом закатится с друзьями в ресторан, сюда-то вот заложит, да по всей ночи с гимназистками... Ему можно,—пиши до победного конца, только и делов. Не-ет, ты придумай чего-нибудь насчет мира, как-бы войну кончить, а то...—и он безнадежно махнул рукой.

От землянки телефонистов подошел Алпатов. Он с улыбкой посмотрел на Вискова и тени заиграли на его умном, подвижном лице:

— А раньше-то мы кончали?—Сказал он.—Эх, Степан Гордеич, какое ты слово обдумал—да на что ему кон-

чать-то? Ты так подумай: ведь над ним не каплет, дождю нет, а аэропланы с бомбами тоже над головой-то не летают. Мы с тобой воевали и еще повоюем, небось здоровы—ряжку-то в три дня не оплюешь. А что убьют или самовар из тебя сделают, вот беда какая—им больно нужно. Они сыты, им тепло, в кармане есть, в подниках он спать не ложится, а скидает. Он во-ольный, винтовку-то сроду в глаза не видал и в руках не держал. А ты знаешь, кто ты есть. За-щит-ник родины, понял? И ты держись до победы, хоть печенка лопнет, а ты держись и надейся, что на том свете грехи тебе отпустят.

Алпатов засмеялся едким обличительным смехом, словно поймал кого-то в злом обмане и, держа за шиворот, изобличал его на глазах.

— Порядок, твою мать...—добавил он.

И сейчас же в искрах нового огня вспыхнули злые голоса:

— Умные в тылу, герои в плену, а дураки воюют.

— Должно быть, дурее нас не нашлось.

— На таких вот и пашут.

— Загнали в яму, посадили в собачий ящик. Стреляй, говорят, туда, это неприятель, а какой он мне неприятель—что он у меня жену отбил?

— До победного конца. Николай с Вильгельмом поругались, с ними все генералы и господа, а мы стали виновати... Пусть на кулачки один на один или стенкой вместе с генералами выходят и делу конец, а мы здесь при чем?

— А то—вой-на. Для чего она, скажи на милость, нам сдалась, эта война? Страдаешь-страдаешь, как курицын сын, хуже свиньи, а людям смех.

— Наша, говорит, берет, а у самих вся ряжка в крови. Варшаву отдали, Новый Георгиевск отдали, все

крепости прохлебали и все наша берет — вот тут и пойми.

— У деревни Михайловки в том лесу-то Колыванский полк шесть раз в наступление ходил и всех на проволоке пулеметом посекли. Как снопы, навалены. С нашей деревни шесть человек на месте и двоих раненых в лазарет отправили. Эти-то рады, хоть живыми вышли. За что пропадают люди?

— Это не война, а убийство.

— Тут, ребята, вещь простая, нашего брата больно много последнее время развелось, а им противно, вот и захотели они нас уничтожить. Иди, говорят, защищай родину штыком своим и лбом. Им не жалко. А все и полезли, очертя голову, как чумовые. Дураков-то на свете уж больно много развелось, страсть. Эх, дурость, дурость...

— Да-а, кому война, а кому нажива.

— Умному одно, а глупому другое—каждому свое.

— Русскому солдату большая честь: вместо винтовки ему в руки дубинку дадут, как давали в пятнадцатом году, и он все идет, как тот баран. Да еще говорят:— стой до последней капли крови,—а как-же я, в господа-мать, буду с дубинкой стоять, если он с аэроплана и длиннобойных, грязными наколачивает. Начальство, мать...

— Выдумали глупое слово—вой-на—и забивают народу голову.

— Кончать войну к чортовой матери!

— Ты, Сережа, так часто не кончай: молод еще и служить тебе много, как медному котелку.

— Ой, врешь, мы уже с тринадцатого года щи-то хлебаем.

— Нет, Сережа, мы домой поедем—Гаврило, крути! А ты после нас еще послужишь.

— Что вы, ребята, толкуете: скоро мир. Неужто из Сибири на волах так и не доедет?

— Дожидайся, его уже два года на волах тащут и все никак ближе Сибири не выедут. Уж весь кнут изломали, а волы в болоте стали и нейдут: цоб-цобе. Как те волы к нам приедут, так и мир.

— Нас-бы с Серегой в ту повозку вместо кучеров— мы-бы им хвост навертели и сразу рыси добились.

— Мы-бы его не то, что на волах, а на свиньях к рождеству доставили. А то, в грязи завязли, подумаешь.

Харченко молча сидел у костра с равнодушным скучающим лицом. Он зябко завернулся в шинель и неожиданно сказал:

— Да ну вас с войной к монаху, и без того каждый день... Песню, что-ли сыграм. Глазков, начинай!

— Давай сыграем. Какую?

— Затягивай «От павших твердынь Перемышля».

— Перемышля. Обожди, мы сейчас вот что споем...

Подражая регенту, Глазков шутливо откашливается, вынимает из голенища ложку и бьет ею по звонкой жести ведра:

— Тон даю: до-ре-ми-фа-соль. Бе-ри ме-ня враз. Ну, дружней подхватывай.

ПИСЬМО ИЗ ОКОПОВ*).

Хорошо вам жить на воле,
Сыпать ласковы слова,—
Посидели-б вы в окопах,
Испытали-б то, что я.

*) Подлинная солдатская песня, записанная в 1916 году на Юго-западном фронте. Поется на три мотива: „Буря мглою небо кроет“, „Из-за острова на стрежень“ и „Точно море в час прибоя“—любимые солдатские мотивы.

Мы сидим в глубоких ямах,
На нас дождик моросит.
Как засыпет пулеметом,
Так, поверьте, жить нельзя.

Вот услышишь приказанье:
Из окопов вылезай.
Только голову покажешь,
Как шрапнели ожидай...

А когда пойдем в атаку
С криком громким и ура,
Страшно видеть эту массу
Всех убитые тела.

В бой пойдем, братцы, скорее
На коварного врага.
Дружно станем за Россию
И за мир крикнем ура.

Бой кипел несчетно суток,
Но солдат не унывал,
Только думал про победу
Да о мире толковал.

Шли Карпатскими горами,
Шли победу добывать.
Ничего мы не добились—
Нам пришлося отступать...

Много пало наших братьев,
Много крови пролилось
За немецкое начальство,
Что в России развелось.

НОВАЯ СЕМЬЯ

Когда продали Варшаву,
Там был немец-генерал.
Он набил карман деньгами
И непростившися удрал.

Вот горит кругом Россия,
Немец крепко наступал—
Мирных жителей со страхом
Вглубь России угонял.

Чтой-то будет, братцы, дальше?
Стонут матери-отцы,
Стонут жены, стонут сестры—
Не прийдут домой бойцы...

Раньше думали о Берлине,
А теперь нельзя мечтать.
И теперь мы будем думать,
Как-бы Варшаву назад взять.

Вспомним, братья, про француза,
Как он был у нас в Москве:
Но Кутузов тот не немец,
В нем измены не было.

Не дождаться нам отрады,
Не дождаться мира нам,
Через нас летят снаряды,
А в окопах сыро нам.

Но как если-бы вернуться
Из окопов-бы домой,
Рассказал-бы каждый воин
Про германско-русский бой.

Кто-ж дождется той отрады
И прийдет-ли мир когда?
Через нас летят снаряды,
В сердце больно навсегда...

Скованная печалью знакомого ритма, песнь плескалась, как морская волна. Простые слова сжимали сердце и будили глухой протест.

— За что оторваны эти люди от семьи и родных деревень,—думал я—для чего разбиты их лучшие годы? Взвалить на свои плечи тяжелый груз войны, сознавать ее пустоту и ненужность, чтобы дойти до отчаяния в исканиях своей правды. Не пройдет же это даром и настанет час расплаты.

Равнодушно опустилась широкая темно-синяя ночь. Номера разбрелись по орудиям. Костер догорал. Я лег на солому у зарядного ящика. Звезды рассыпались на небе золотым маком, и хотелось бездумно унестись в пространство. Далеко по фронту слышались глухие удары артиллерии, словно великан клепал бочку.

Ворчливо-задорный голос крикнул:

— Первое орудие, опять наш топор заиграли... Компания Зингер, вашу мать...

Никто не ответил. Вдоль батареи на ощупь прошел дежурный, он споткнулся об лотки с гранатами и упал, загремев шашкой.

— Что они тут на дороге разложили, места им мало трах-тара-рах...

И продолжал из темноты безнадежным тоном:

— Люди спать ложатся, честно-благородно, а тут каждый день тебе—то наряды, то дежурство. Эй, пятое орудие, что вы точку отметки не поправите? Фонарь, как пьяный, мигает. Подлей керосину-то, что-ль...

4. По мобилизации.

На спокойной закрытой позиции мы отдыхаем вторую неделю. Слева—разбитый скелет деревни Лобачевки, направо, за высокой рощей чернеют короткими стволами мортирные орудия. Расстилаются поля зреющей ржи с точками васильков и ромашки.

Противник может увидеть нас только сверху, но установилось затишье, аэропланы летают редко, колбаса перестала маячить на горизонте, и батарея отдыхает после боев, как отпущенная струна.

Тонкая линия пехотных окопов протянулась бесконечной кривой в двух верстах впереди. На нашем участке стоит батальон Смоленского полка. Все цели перед ним измерены пристрелкой, распределены по-ротно и обозначены по номерам:

— Цель номер два—избушка в лесу, место расположения штаба батальона.

— Цель номер три—пулеметное гнездо против пятой роты.

Стреляет батарея редким ленивым огнем. Заметят с наблюдательного пункта кухню, повозки или комья брошенной земли и гудит в телефон команда:

— По цели номер восемь.

— Правее ноль-двадцать.

— Гранатой.

— О-гонь.

Выстрелы раскатываются по полям гулкими ударами и тонут в просторах солнечного дня. Номера принимают радостную команду:

— Сто-ой, отбой!

Качает налитые колосья высокая рожь, и синеют точки васильков.

* * *

Подойдя вплотную к солдатской жизни, где остаток личной свободы смят и уничтожен под серой шинелью, я начинал смотреть на товарищей с чувством радости и уважения. Это не тот солдат, что на моей памяти в девятьсот пятом году заколол штыками первую русскую революцию, и не искусственный сусальный простачок, чеканно изображенный карандашом присяжных литераторов и военных писателей с давних времен; и не задерганный истукан, потерявший свое лицо, превратившийся в слепое орудие начальства, как писал об нем известный беллетрист.

За два года войны солдат многому научился, много понял и перестрадал.

Часы отдыха проходили у нас в увлекательных беседах:

— Война и мир со всех точек зрения: для чего, за что, где причина, кто начал, когда кончится, есть-ли от нее польза трудовому народу и когда войны совсем не будет?

— Как и почему сдалась крепость Ковно.

— Сколько верст до солнца.

— Об устройстве планетной системы.

— Об индийских факирах.

— Как живут муравьи и пчелы.

— О неграх и Африке.

— Кого называют гимназистками, чем они отличаются от курсисток и учатся-ли где нибудь проститутки.

— Об извержении вулканов и причине землетрясений.

— Почему разрыв шрапнели на солдатском языке называется «Максим Горький» и кто такое Максим Горький.

— О происхождении человека от обезьяны.

— Тяжесть и давление воздуха.

— Жизнь на морском дне.

— Про начальника нашей дивизии, как он в бою напрасно погубил целый полк и ничего ему за то не было.

— Как дразнят Костромскую губернию.

— Об охоте на тигров.

— Про попа, работника и солдата.

— О китайской революции, об уничтожении кос и свержении богдыхана.

— В какой стране какое правление.

— Про декабристов.

— Про Народную Волю, Желябова и Перовскую, за что был казнен Александр второй и как добились крестьяне своего освобождения.

— Про девятое января девятьсот пятого года...

И мы не скучали у вечерних костров в мрачные дни шестнадцатого года. Много лет прошло с тех пор. Война ушла в историю и плуг сравнял брошенные окопы. Догорела незаметно молодость. Но через дождь и туман, по мосту уходящих лет, оживают в моем сердце неясные думы прошлого, вспоминаются славные друзья, разбитые деревни и полевые дороги, жаркие дни и холодные ночи, выстрелы пушек, железный стук пулеметов и свет печальных ракет. И не забыть товарищей, что делили со мной горькую тоску в потемках солдатского горя.

* * *

Вот Алпатов — мой земляк из Тамбовской губернии. У него широкое, неправильное лицо с выражением упрямой настойчивости. Он просто и по мужицки сдержан, но говорит хлестко и едко, украшая речь ловкими словами народного языка. В его небольшой коренастой фигуре бьет ключем трудовая энергия. Он легко переносит лишения, может не спать по нескольку ночей, сохраняя полную свежесть в серых глазах; а уж если начнет рыть землянку, лопата весело заиграет в его руках, и все любуются на его быструю, плотную работу:

— Ну, и швырок: это не человек, а машина, трах-тарарах-рах. Дай-ка лопату-то, а то всю землю перешвыряешь, чорт.

На войну он призван из запаса по первой мобилизации. Дома работал по плотницкой части. Первые полтора года Алпатов служил в пехоте, в одном из полков нашей дивизии. Он участвовал во всех боях, как строевой солдат. Из первого состава в полку осталось к тому времени только двадцать человек, а остальные растерялись по фронту убитыми в боях, кто был ранен, кто попал в плен, а кто пропал без вести. В числе немногих случай хранил его жизнь в самых острых положениях: при внезапных ночных атаках, под дождем ручных гранат, под вихрем длиннобойных и тяжелыми ударами бомбомета и в неверной сети проволочных заграждений, когда пулемет Кольта, как неумолимый железный дятел, в упор расстреливал его роту. Не один раз прощался он с жизнью, но случай всегда спасал, и он не получил даже легкой раны.

Когда фельдфебель объявил Алпатову, что он, вместе с несколькими товарищами, переводится из полка в ба-

тарею для пополнения телефонной команды, он перекрестился:

— Ну, теперь-то я, как в санях: хоть на одну версту подальше от пехоты, а статья совсем другая. Здесь война, да не та.

Однажды на отдыхе, когда он перекладывал белье в своем ранце, я увидел георгиевский крест и медаль, заложенные в белье.

— Что-же не носишь-то?—Спросил я.

— Чего — эти-то. — Пренебрежительно ответил он.— Авось места не отлежат. Пусть на ребятишек побрякушки вешают, а мне голову морочить нечего — я старый воробей. Да и заслуга плохая — людей убивать. Четыре целковых в год платят и ладно, а прибавят еще, не откажемся.

Дома у него осталась жена и трое детей. Вот неизлечимая забота:

— Эх, пропадут без меня: ребята малые, чего они могут.

Я знаю, что в бессонную ночь у телефона он тоскует о своей деревне и упорно ищет свою правду, ломая голову над загадками жизни. Много испытал он на своем веку за сорок лет, много перенес и поворочал и передумал много, выковывая крепкую, стойкую душу.

В первый день нашей встречи он обратился ко мне чеканной скороговоркой с вопросами о международном и внутреннем положении:

— Сухомлинова еще не судили. Почему — что-то долго волынят. Повесить мало сукина сына, сколько нашего брата через него пропало. А прогрессивный блок как работает? Все для победы? Си-ильно. Только в этом толку мало. Штюрмера и Горемыкина по шапке гнать нужно, вот по ком дубинка плачет, это да. Наладить бы

их широкой лопатой по одному месту и катись на легком катере. А левые, левые работают здорово, этих не проведешь, дело знают. Только и у них обратно ничего не получится. А потому не получится, что Гришка Распутин всех забьет. Вот сатана-то. И как съумел пролезть, скажи пожалуйста. Его, дьявола, на фронт нужно, в самую пехоту, там-бы выучили. А то во дворце окопался, бабой пользуется, и ему-же денежки платят, — де-ла! И кто только над нашим братом не измывается, вот несчастная доля. Кругом измена: солдат в окопах свою кровь проливает, а другой в это время себе в карман старается. Ну, и компания Зингер. Дуракам, должно, так и надо: пусть еще воюют, может, уму-разуму научатся и до чего-нибудь тогда довоюются.

Случайные газеты Алпатов прочитывал насквозь до объявлений и надолго укладывал в своей памяти самые разнообразные факты. Немало вечеров провели мы с ним в живых беседах, воспоминаниях, вопросах и ответах.

* * *

Антон Лысак. Мы с ним ровесники, что сказать по солдатски:

— Мы с ним годки.

Еще молодой и всегда шумно-веселый, он уже старый солдат и с четырнадцатого года прошел:

— Огонь и воду, медные трубы и волчьи зубы.

Мы разговорились с ним случайно во время ночного дежурства у орудий:

— О вечорницах в деревне, в Полтавской губернии, о любви, о женщинах...

Лысак холостой, у них не принято рано жениться. Он рассказывал мне, что любит девушку из соседнего

хутора, что по обычаю они спали вместе целый год, сохранив полное целомудрие, и теперь она его невеста. Он получает от нее редкие письма.

Помню, как Лысак с веселым упрямством хвалился перед номерами, что его половая энергия неизсякаема.

— Врешь ты, Лысак,— говорил Харченко.

— А вот не вру.

— Не трепись зря.

— Вот неверный — да давай пари держать на трешницу. Посмотрим, ну. Раз мне нутро позволяет.

— Ну-к, что-ж, а природа обратит, — продолжал Харченко.

— А я твою природу, трах-тара-рах...

Я имел случай убедиться, что он имеет свою накопленную мудрость и мысль его работает независимо и просто, как топор по дереву, зная свое дело. В моменты жарких споров на волнующие острые темы он нейтрально лежит в сторонке, покуривает и двусмысленно молчит, показывая своим видом:

„Все вы не то толкуете. Я, Антон Лысак, знаю правду, да не стану говорить. Не желаю“.

Как-то зашла речь о студентах: чему учатся и зачем бунтуют. Было сказано при этом одним из собеседников, что:

— Нечего зря бунтовать, а лучше-бы учились и дело делали.

Тогда Антон не выдержал:

— А ты знаешь, что к чему, — вскочил он, — ты думаешь, студенты за кого бунтуют, голова. Думаешь за себя, а не за нашего брата. Раскинь мозгами то сначала, да у людей спроси. Может, если бы все было, как студенты желают, тогда нам с тобой и страдать-бы не пришлось. А ты говоришь.

Откуда он мог узнать о студенческих волнениях? Простой, малограмотный солдат, оторванный от сохи, искал свою правду.

* * *

Вижу его смуглое лицо с печальными глазами. Он лежит под деревом в стороне от товарищей.

Это Еремин, — наводчик пятого орудия.

Раньше он не был таким грустным и молчаливым. Целых пять лет с девятьсот одиннадцатого года прослужил он в батарее, оторвавшись от семьи, вернулся недавно из отпуска и замолчал:

— Не узнать человека, ровно как подменили его.

Дома его встретил старик отец, больная, прикованная параличом к постели мать и четырнадцатилетняя сестра. Обедневшая семья, лишенная своей опоры, билась, как рыба об лед, и лучше-б не видали его глаза эту невеселую жизнь.

Недаром заскучал Еремин, устранив себя от участия в спорах, в шутках, в песнях и в забаве карточной игры. Как кролик, забьется в угол землянки или ляжет в тени на траве и часами тоскует о своем. Эй, Ваня-Ваня, напрасно ты ездил в отпуск—тебя загложет лютая тоска, если не развлечешься ты в семье товарищей...

Невидимая деликатность окружает Еремина и никто не беспокоит его расспросами, чтобы скорее переболел он свою заботу.

— Заскучал парень, да надо как-нибудь обойтиться. Всем-то тоже не сладко, а вот кое-как держимся друг за дружку. Так и это. В скуке правды нет...

* * *

Чекмарев, номер нашего орудия, мой товарищ по землянке и один из лучших моих друзей. Многострадаль-

ный и безропотный неизвестный солдат из картин Верещагина—это Чекмарев, его мягкая скромность, уважение к людям, благожелательность к товарищам, его верная дружба и уступчивая любовь ко всему миру. Я никогда не видел, чтоб он затеял ссору или смеялся над кем-нибудь. Человек, от которого:

— Никто слова не услышит.

В нашу батарею он пришел путями неизвестной судьбы в начале шестнадцатого года. Война застала его в крепостной артиллерии Ново-Георгиевска в одном из центральных фортов. При осаде крепости он попал в плен, разделив участь всего гарнизона. Долго странствовал он по мукам в Германии, где его переводили («перегоняли») из одного лагеря в другой. Он назначался на тяжелые работы, изнывал от голода, надрываясь по колено в воде. Наконец, дошел до отчаяния: в одну незабвенную ночь он поставил на карту остаток своей жизни и бежал из плена вместе со своим товарищем Массалитиным, своим неразлучным другом. Чекмарев признает, что честь удачного побега из плена принадлежит не ему, а Массалитину, которого он ценит, как самого дорогого человека:

— Он мне милее брата: без него я пропал-бы, как лист, а он мне жизнь спас.

Чекмарев решился на опасное дело—бежать из плена:

— Потому, что очень сильно били, невозможно стало терпеть. И работой замучили в отделку. Бывало, в лагере и слова хорошего не услышишь, а все „русс-фарфлуктер». Ну, и дошли до ручки: так и так пропадать. Тогда уговорил меня Алешка Массалитин, подумали мы и рискнули на это дело. И стали мы поддаваться...

Странно мне было узнать, что Чекмарев, такой молодой с виду, женат уже четыре года, имеет двух детей; но так сложилась его жизнь, что только несколько дней

он видел старшего ребенка, а младшего совсем не видел, о рождении его узнал из письма. Когда он вернулся из плена и желанный отпуск, казалось, был обеспечен, его погоняли по штабам и вместо отпуска прикомандировали в батарею.

— Сказали, что все отпуска по приказу отменены и пришлось мне без передышки...

Бывают у номеров неприятные поручения: потребуется назначить в ночную смену строить блиндаж на наблюдательном пункте или прикажут выдвинуть одно орудие на опасное открытое место в кинжальный взвод или еще что. И поднимется шум: кому итти, чья очередь. Чекмарев никогда не спорит и безропотно принимает всякое поручение с одной только просьбой:

— Чтобы от Алехи не отбиваться: куда он, туда и я. Не можем мы врозь: он мне все равно, как отец. В какое место Алеху, туда и я: должны мы вместе.

Чекмарев и Массалитин, вместе пережившие жизнь и смерть, связаны узлом теснейшей дружбы. Массалитин не похож на сына курского крестьянина — это сангвинический, подвижной француз. Быстрый в движениях, остроумно-находчивый, он все помнит, все знает и умеет. Неутомимый весельчак и балагур, в нем что-то есть от древних скоморохов, этих мастеров народной забавы. Он щедро рассыпает вокруг себя четверостишия, прибаутки, песенки и анекдоты, черпая их без малейшего усилия из родников своей памяти.

Он три года служил до войны на действительной военной службе в городе Гродно и в совершенстве научился польскому языку, владея им также свободно, как русским. Узнал историю Польши, изучил быт и нравы польского мещанства, понял их отношение к русским, их семейные и религиозные обряды. Завязались друже-

ские связи, панна коханна, появился круг знакомых. Потянуло его к этой новой жизни, и он решил после службы в свою деревню не возвращаться...

В начале войны Массалитин был назначен в крепость Ново-Георгиевск. Здесь он встретил Чекмарева, которого принял под свое покровительство, а потом судьба связала их трагедией плена и смелого порыва домой. Это он задумал сделать побег и среди многих желающих выбрал себе Чекмарева в товарищи, уговорив его решиться

— На такое дело.

Лагерь находился за триста верст от границы, был огражден колючей проволокой с пропущенным электрическим током. Бежать нужно было ночью, сделав подкоп. Массалитин продумал все подробности побега, разработал план и только благодаря его твердой воле, находчивости, быстроте ума, знанию польского языка и умению подходить к людям, его привлекательной наружности и, может быть, успеху среди женщин, счастливо прошли они ночными переходами сотни верст немецкого тыла и фронтовую полосу, добрались в изнеможении до передовой линии, где провели несколько жутких ночей в разбитом костеле, в двадцати саженях от немецкого полевого караула, проползли по льду под проволокой, едва не утонув в проруби — «ловить раков» и, наконец, добрались до своих, где сгоряча их чуть не подстрелили дозоры.

Много раз слушал я всегда волнующий рассказ Массалитина, как шли они:

— Из германской неволи.

Как на третий день своего пути, теряя силы от голода, зашли они в польскую деревню и там на выгоне у колодца:

— Динь добрый, панна коханна. Не бросьте человиков, мы идем с германской неволи.

— Ах, матка боска, то русски солдаты. Прошу панов до мешканы.

И женщина проводила их огородами к своему дому, снабдила их вольной одеждой и объяснила, как итти дальше стороной от опасного шляха, по которому серым потоком двигались автомобили и глухо позванивали тяжелые колонны «армат». Как во время завтрака собрались добрые, сочувствующие соседки, расспрашивали и жалели, указывали по деревням знакомых людей, где можно согреться и закусить, говорили, где стоят германские обозы, и благословляли в дальний путь... Как Массалитин, взяв колоду карт, сказал на прощанье:

— О, пани мои дружни, нэх карты мудры скажут мне вшиску правду: буду я дома боже на родзеня али нэ?

И карты сказали ему удачу после тяжелой, опасной дороги, а женщины плакали, провожая своих гостей в застывающий полумрак осеннего вечера. И перед ними открылся нерадостный трудный поход через леса, поля, реки и болота... Красочно сообщал нам талантливый рассказчик историю этого похода.

Массалитин сам не знает, что он артист по натуре, у него есть дарования, он любит успех, он человек эстрады. Вот в группе солдат пятой роты он изображает напыщенную важность польского пана, рассыпает остроты, прохаживается гусиным маршем и командует по польски:

— Панове, шмир-но! Слухай команду: арматы от земли до пояса, от пояса до руци, от руци до плеча — ать, два. Пальба ротою, просто по лясу — панове... пли!

Или расскажет, как в далекие времена польского восстания возмущался «пан»:

— Русска пуля як свинья: пан до лясу и пуля до лясу, пан за дживо и пуля за дживо... Бжик и пана забила...

Веселый смех награждает рассказчика. Выступления Массалитина имели постоянный успех. Но вместе с комическим талантом он обладал прекрасным голосом и той внутренней музыкальностью, которая дается немногим. Простую солдатскую песню или чувствительный романс он умел передать по новому, согревая старый ритм теплом забытой красоты:

Вот он начинает любимый романс:

На паперти божьего храма
Оборванный нищий стоит.
Он видит: какая-то дама
Роскошно одета на вид.

И не устанешь его слушать до конца, погружаясь в волны неясных дум. А он начнет новую в протяжных напевах старины, которая звучит у него, как страстная тоска о прошлом, несмотря на бессмыслицу слов.

Окончив курс своей науки.
Я в дом родительский попал.
Друзья, пред вами сознаюся,
Сестру родную полюбил.

Массалитин получает из дома редкие письма и не любит вспоминать о семье. Избегал он почему-то рассуждений о больных проклятых вопросах солдатской жизни, о мире и войне, покрывая их музыкальным весельем и беззаботной шуткой. Можно было подумать, что Массалитин бессознательно работает на оборону, поднимая настроение в солдатских сердцах, и не думает о своей несчастной доле. Но однажды мы достали у писарей измятый номер „Киевской Мысли", где передовая статья была написана в громо-победном тоне. После коллективного чтения Массалитин вскочил с горящими глазами:

— Кончать войну к такой (трах-т-ра-рах!) матери — не желаю! — страстно закричал он. — Я седьмой год

в серой шинели, как арестант, хожу, а они там с кем остались? Кто семью прокормит? С голоду помирать. Тебе война нужна, Еремин, ты за что воюешь, твою мать. За Николая, за Ивана Кронштадтского или за дурость нашу мужицкую?

Ни в чем неповинный Еремин с улыбкой смотрел на него печальными глазами, а Массалитин продолжал:

— Правду говорят: развелось нашего брата больно много, нужно кому-то стало нас поубавить, и выдумали глупое слово — вой-на. Да ты погляди по свету, как добрые люди живут. Немцы, вон они на чай и глядеть не станут: их вилль нихьт, скажут, дас ист шлехт, дас вассер, обязательно он утром кофей или какаво с молоком. Вот. А мы с тобой дома-то часто самовар ставим? Ну, офицера воюют, они себе золотые погоны наживают, брюки с галифами, в кармане тоже есть, а мы что? Деревянный крест чтобы заслужить. Не желаю. Кончать войну, в могилу мать...

Харченко засмеялся детской улыбкой, показав неровные зубы:

— Ишь, Алешка, расскипидарился, как тебя разобрало.

— Терпенья моего нет, братишки, вот что, — печально сказал Массалитин.

Молчавший скромный Ефремов посмотрел на него и ласково потрепал по плечу:

— Эх, Алеша, всем она надоела, да как-же ее кончать, дорогой, если не нами она начата, а им.

— Кем это, им-то?

— Да вот, что оттуда, — показал Ефремов рукой на окопы. — Стреляют.

— А тебе что, больше всех нужно? — раздраженно спросил Массалитин.

— Мне ничего не нужно. Ты сказал: кончать, а я тебе и говорю: как? Ты сочувствуешь.

— Как? Подумаешь — большое дело: бросай все к чортовой матери, штык в землю, и гайда.

— Нет, дорогой, так не годится. Ничего не выйдет: — мы — на Киев, и он на Киев, мы на Курск, и он за следом. Думаешь, отстанут. Нет, братишка, далеко не уйдешь: лошади-то у нас не лучше ихнего. Ну, хорошо, пускай мы уйдем и нас с тобой не догнали, а кто-же здесь останется? Пушкин? Ну, Петроград возьмут, ну, Москву, что-же, нам с тобой лучше будет?

— А мне волк ее съешь и Москву: она мне нужна, как собаке пятая нога.

— Ну-к что-ж, давай бросим, тогда они тебе, думаешь, спасибо скажут и кофеем напоят. Смотри, дорогой, как-бы так не напоили, что три дня шамать не захочешь. В лагерях-то вас чем кормили, макаронами?

— Лагеря чего поминать. Я из плена бег, — думал, к бабе хоть на месяц отпустят, да и получил вот: прямо без отдышки угодил обратно сюда, опять снова-здорово...

— Нет, Алеша, так нельзя. Надо еще подержаться, может, теперь недолго. Больше страдали и то... а теперь как-же.

Не успел Ефремов сказать последние слова, как вспыхнуло вокруг злыми голосами:

— Вот супчик-то нашелся.

— Ему болей всех нужно.

— Возьми его за рупь за двадцать.

— Мало воевали, — еще хочет.

— Больной умен.

— Николаю служить хочет.

— Какой сачок отыскался — защитник родины, твою мать...

— И воюй один, а мы домой зальемся, ладно?

Но Ефремов не сдавался и с тихим упорством продолжал свое:

— Ну, как-же теперь быть-то. Бросать нельзя: это дело задумчивое, нужно поддержаться.

Если-бы я не знал раньше этого скромного товарища, можно было-бы принять его за новичка, не познавшего корявой изнанки войны. Но Ефремов служит в батарее с 1912 года, он участвовал во всех боях с самого первого дня и помнит еще ту первую боевую ночь, когда весь дивизион неожиданно напоролся на австрийцев под деревней Тартаки... Помнит он и тяжелый бой в лесу у Голятин Горного, где два орудия остались без прикрытия и половина номеров погибла от винтовок, а синие шинели подходили все ближе. Ефремов на рысях подкатил передки — он был в то время ездовым корневых лошадей — поднял орудия и, отстреливаясь револьвером от наступающей пехоты, галопом вывез орудия с пробитыми панорамами. Раненый в плечо, он отказался итти в лазарет и вылечился в батарее с помощью фельдшера. После того он был назначен в запасные наводчики 4-го орудия.

Сын простого крестьянина, он был убежденным сторонником войны до победного конца. Доказать ему обратное было невозможно. Посмотрит светлыми глазами и с наростающим упрямством убежденного в своей правде скажет:

— Нет, дорогой, это-о дело такое: надо как-нибудь поддержаться.

Крепко доставалось ему под горячую руку от номеров за вредные мысли, а потом он снова был одним из лучших товарищей, которого любили за старую дружбу, уступчивость и миролюбие.

* * *

У него чеканная фамилия: Карабаш. Сколько древних воспоминаний в сочетании этих звуков: и Запорожская Сечь, и плен турецкой неволи, и вольный стремительный поход крымских татар, и степные пожары. Карабаш скуп на слова, но умен и развит. Он любит книгу и уж если найдет случайные обрывки романа или учебника арифметики, он не расстанется с ними, пока не зачитает до конца. Украинская деревня на берегу Днепра потеряла для него свою прелесть и не о ней мечтает он, а о другом.

— Хорошо-бы после войны податься в города или на сахарный завод. На земле все равно много не наробишь, так земляком и останешься.

Карабаш находится в команде телефонистов, куда назначаются самые развитые и смелые солдаты. Эта команда выполняет для батареи тяжелую и опасную работу. Полевой телефон заменяет артиллерии глаза и уши на десять — двенадцать верст во все стороны. Без телефонного кабеля, когда разорвет его гранатой в бою, батарея остается беспомощной, как слепое животное.

Во время боя кабель рвется огнем артиллерии беспощадно и телефонисты должны восстанавливать связь, жертвуя собой.

— Та-та-та,— тонко пищит в телефонной трубке:— правый наблюдательный. Правый? Мишка, это ты? Скорей на линию искать разрыв.

А на линии взмывают черные фонтаны земли и стучит железной строчкой пулемет.

— Найти разрыв во чтобы то ни стало...

В каждом бою телефонисты теряют убитых и все меньше остается в этой команде тех, что уцелели с начала войны.

Один из случаев своей жизни Карабаш рассказал мне.

— Бой тогда был ужасный. Все поле гудело от снарядов: Смоленский полк второй раз пошел в наступление. Я дежурил на передовом наблюдательном в самых цепях. Телефон работал хорошо и по линии нам ползать не приходилось. Вдруг зашипело чего-то в трубке и ничего стало не слыхать: кабель порвался. Илья Васильевич был дежурным офицером. Шумит: телефонисты, давай батарею. Я говорю: батарея не отвечает — обрыв. Илья Васильевич затрясся: марш по линии! Москалев послал двоих.— Очередь не моя была, как сейчас помню, но гавкать и скандальничать не любил хуже смерти. Не в характере. Посылают на съедение, ну и пойду... Все равно когда-никогда, а помирать нужно.

Перекрестились мы с Васильевым, ползем. А тут что делается! Невозможно рассказать. Чистый ад. Шрапнель над головой так и полощет, из Максима Горького. А потом грязными начали садить. Ползать стало невозможно: как даст одной-другой, так и отпашемся мы к свиньям. А они уж заметили, что мы ползем и давай по нас, давай по нас... Ну, думаю, пришел конец, пропал теперь Карабаш, не выйдешь.

Саженей сорок отползли, видим оборванный провод, а рядом воронка от снаряда, как медвежья нора. Начали мы искать оборванные концы, а их так расшвыряло, что в горячке, никак не найдешь. В это время слышу: гу-дит... да близко... прямо на нас... Только и успел шумнуть я Васильеву-то: «Ложись», как она трахнет! Всего оглушило, как топором по голове, в ушах зазвенело и я очумел. Как сноп, упал я без памяти в ту воронку.

Сколько времени прошло, не помню. Открываю глаза: стало темно, выстрелов не слыхать. Смотрю, Васильев лежит на траве сажени за две от меня, весь в крови и

уж не дышит. Гимнастерка на нем в клочьях. Пришли санитары с носилками и подобрали его.

Поглядел я на себя: весь в земле измазан, как арап, на сапогах кровь и мозги, а болезни никакой в себе не чую. Только воздухом меня обожгло, а Васильеву та граната принесла смерть.

Сам не пойму, как мне пришлось тогда спастись: должно быть такое счастье. К ребятам я пришел весь бледный, как холст, дрожу лихорадкой, а зубы стучат, как тот пулемет...

На полях ненужной и бесцельной войны вот уже два года расточает он, верный Карабаш, свои силы, отдает свою молодость, свое незаметное простое мужество и неповторяемую жизнь. Он принимает эту войну, как несчастную злую долю и знает, что за все жертвы есть только одна солдатская награда:

— Деревянный крест.

* * *

Подпрапорщик Плешаков. Он-же взводный фейерверкер. Выходит из землянки, как чемпион французской борьбы. На груди, под георгиевскими лентами, белеют все четыре креста. Великолепные пышные усы, свирепый вид, голос соборного протодьякона. После каждого слова, не признавая границ, от земли и до неба сыплет густым перцем.

Страстный игрок в двадцать одно. Знаток и любитель жизни. Неисчерпаемый запас воспоминаний о ночных приключениях в Туле, в Тамбове, В Москве, на фронте и в отпуску и в дивизионном лазарете. Правда, в этих воспоминаниях большую роль играет воображение самого рассказчика и все об этом знают, но

— Не любо — не слушай, а врать не мешай — в том убытку тебе нет.

А если заврется, ему можно спеть хором:

— До-ре-ми-фа-соль...

Ты не ври, не ври
Добрый молодец,
Не учися врать...

И в этой веселой песенке, под общий хохот, Плешаков, двигая усами, подтянет могучим баритоном.

Вот он надевает праздничную суконную гимнастерку и, щурясь от солнца, похожий на кота, идет по линии землянок.

— Плешаков, далеко пошел-то?

Следует краткий ответ:

. . . . (искать).

— А раньше-то?

По должности и чину Плешакову полагается быть свирепым и злым начальником; и еще полагается ему быть мрачным и недоступным, потому что он не простой солдат, а сверхсрочный, или, сказать по солдатски:

— Барабан.

Но это одна видимость, а на деле Плешаков совсем не такой. Добряк, простой товарищ и нетребовательный начальник, даже немного разгильдяй, но душа общества, рассказчик и танцор, знает он частушек бесконечно много, сочиняя их тут же под лихую гармошку, а уж выпить любит, — что и говорить.

— Насчет этого слаб.

* * *

Друзей у Плешакова много, но его ближайший друг, земляк, годок и собутыльник:

— Фельдфебель батареи подпрапорщик Минаков.

Точный исполнитель приказов и главный рычаг управления. Длинная шея и зоркие глаза. От высокого роста кажется худощавым. На тридцать шестом году сохранил свежий юношеский цвет лица. Утром он поднимается раньше всех. За час до водопоя он уже на ногах, всегда бодрый, свежий, упрямо настойчивый и требовательный. Проверит караул у денежного ящика, наведет порядок у кухни, все осмотрит, заметит неисправность, распорядится.

В голове его укладывается разнообразие всяких дел и забот: он следит, чтобы лошади были во время сведены на водопой, убраны и поставлены к коновязи с торбами овса; назначает караул к денежному ящику, дежурных по батарее, распределяет работы и ведет очередь отпусков; исключает с довольствия командированных, раненых и убитых, включает на довольствие новых солдат; отправляет в обоз второго разряда слабых и больных лошадей и принимает здоровых. Он помнит, что нужно послать фуражира в «командировку» за спиртом для командира батареи и отослать в обоз повозки за сеном и овсом, получить обмундирование из интендантства, раздать номерам новые противогазовые маски и заготовить на зиму фураж для лошадей. Он заботится об огневых припасах, чтобы зарядные ящики всегда были полны шрапнелью и гранатами.

Своею властью он решает сотни вопросов текущего управления и ежедневно является к командиру батареи с подробным докладом, посвящая его во все мелочи, отвечая на все вопросы, и без записной книжки запоминает десятки разнообразных поручений. Минаков никогда ничего не забывает. Командир батареи, который бывает трезвым только от обеда до вечернего чая, безмятежно спокоен за все: Минаков не проспит, не забудет, все

сделает, во-время обо всем подумает и распорядится, а если нужно, доложит. На этого можно положиться.

Минаков обладает желудком исключительной силы, свободно переваривая все на свете — чистый спирт, денатурат, самогон, лак и

— Автобензол, от чего автомобили бегают.

Появление в батарее спирта он определяет на расстоянии внутренним чутьем, словно у него есть для того таинственный точный аппарат. Где-бы ни находилась спиртовая жидкость, фельдфебель узнает первым и является за приятной контрибуцией. Все знали, что молодой прапорщик Вязьмитинов получил из дома посылку с бельем, а Минаков в тот же день узнал по «беспроволочному телеграфу», что в посылке есть духи и флакон тройного одеколона. Он три дня ходил за прапорщиком, как влюбленный, почтительно, ласково посматривал на него и вежливо покашливал, пока не получил пузырек влаги. Вечером он распивал синевато-белую жидкость с Плашаковым в землянке номеров, вспоминая лучшие дни.

Солдаты не любят Минакова за то, что он вездесущ, постоянно торчит на глазах, строг, во все вникает и всех подтягивает:

— Ну, аэроплан несется,— вот ногам покою-то нет!

За большие оттопыренные уши к нему приложили меткую кличку «аэроплан» или просто:

— Лопоухий чорт.

По всей батарее фельдфебель окружен скрытой враждою людей, обреченных на тяжелую солдатскую жизнь. Но Андрей Акимович Минаков хоть и неприятен своей строгостью, хоть и зовут его аэропланом, а вся батарея уважает его за веселое мужество, за то, что он показал себя — и не один раз — как

— Человек рисковый, боевой.

Был случай, когда австрийская колбаса обнаружила наши передки на краю разбитой деревни. После первых пробных выстрелов посыпались дождем гранаты. Ездовые рассыпались по землянкам, лошади рвали повода, ломая коновязь. Каждую секунду передки со снарядами могли взлететь на-воздух.

Минаков без седла галопом прискакал в передки. Не обращая внимания на вихрь осколков, словно играя с опасностью в двадцать одно, он закричал неожиданно веселым голосом:

— Эй, будет там бока-то отлеживать, а то жару поддают. Теща в гости приехала. Ездовые по коням! Амуничивай! Живей на тот свет и обратно!

Минаков зажигал стремительным внутренним огнем порыв веселого риска. В несколько минут передки были переброшены в безопасную лощину. Испуганные лошади двигали чуткими ушами, а ездовые с облегченным сердцем посматривали на разрывы и легкомысленно шутили:

— Ну, и баня.

— Давно не купались, мать его в чорт.

— Полощет и полощет.

— Из грязных начали, смотри.

— Все на свете перемешает.

— И как заметил—трах-тара-рах? А все первое орудие. Как колбаса на небе, они лошадей поить — мало им дня! Надо время знать, вот что. Поди-ка сейчас, напоим... Вот черти-то.

Минаков:

— Будет, будет, ребята! Скажи спасибо, ушли, а там пусть поливает по пустому месту. В божий свет не нашвыряешься. Третье орудие, у вас коренная ранена. Пошел сейчас за фельдшером в лазарет, да скажи — пускай пришлют из кухни чубарого, а эту во второй разряд. Торбы, ребята, го-товь: за-сыпай овса!

Вечером ездовые спокойно признавали:

— Ну, и боевой Андрей Акимович — ни черта снарядов не боится. Дело знает и в кусты не хоронится. Настоящий аэроплан. Рисковый человек.

* * *

По лошадиной части главный человек Круглов — он старший по конюшне. В штате такой должности нет, но в каждой батарее один из лучших фейерверкеров выделяется для этой работы. В распоряжении Круглова находится больше двухсот лошадей и он знает их в совершенстве: скольких лет, какого срока службы, какой породы, как зовут, знает силу, выносливость, резвость и характер каждой лошади. Он может перечесть их по пальцам, а на докладе командиру батареи дает подробные четкие ответы:

— Совсем оплошал „Орел“, ваше высокородие, теперь во втором разряде под повозкой ходит. Уж месяца полтора. В орудие никак не годится. Так точно, как бы не пропал. Под экипаж вам, если пожелаете, можно пристяжку взять из телефонной двуколки, а телефонистам я найду. «Нанкин»-то хорош, только сильно тугомордый стал, ваше высокородие, не пондравится вам. Так точно, с японской войны, из годов уж выходит. «Лансада» хорошо бегает, машистая — ветер, а не лошадь. Изволите говорить «Зяблик», а он у разведчиков — этот еще послужит. Давеча у колодца на месте не стоит, только на мундштуках и удерживаешь. В зарядном ящике заковали средний вынос подседельную, которая в чулках, серая, раньше в орудии ходила — сейчас совсем разувши. Так точно, летних шипов хватит, а зимних нужно выписать. Я уж говорил писарям. Расход большой...

Круглов исключительный знаток, начальник и покровитель лошадей. Он зорок и неутомим в наблюдении за жизнью своих покорных друзей, за их уборкой и водопоем, за порядком на коновязи, распределением сена и овса.

Ловко сидит на нем старая боевая шинель, а в темносерых глазах светится огонь неистраченной воли. Первый год войны он был в строю и вел себя, как стойкий мужественный солдат. Ему приходилось стрелять из орудий на картечь в ста саженях от штыков наступающей пехоты и медленно уходить в арьергарде, прикрывая отступление батареи, но и тогда, под взмахом занесенной косы, он оставался таким же сдержанно-спокойным, с холодным блеском чуть зеленоватых глаз, как на коновязи при утреннем водопое.

* * *

Канатоп — так его фамилия — бывший гвардеец, но чем-то не угодил начальству, его откомандировали и сейчас он находится в батарее орудийным номером. Он выше всех по росту. Железная сила — одной рукой легко поворачивает орудие за хобот. Хорошо знает Петроград с окрестностями и картинно-увлекательно, не уступая Плешакову, сообщает сложно-построенные повести о своих любовных похождениях. Должно быть, у Тараса Бульбы в тридцать лет были такие мощные белые усы. Он и упрям, как запорожец, этот Канатоп. Во всем сомневается, давно ничему не верит:

— Ни в бога, ни в чорта.

Не верит он в правду и добро, презирает людей, как философ, и презирает весь мир:

— Какая разница? Все сволочи — из одного теста сделаны: человек хуже свиньи.

Канатоп стихийно ленив и страстно, с упрямством ребенка, ненавидит всякий труд. Он может по целым дням созерцательно полеживать на траве, дремать и греться на солнышке и лениво обличать:

— Бога нет, для дураков выдумали. А что к чему, где бог, какой бог, никто не... скажет.

* * *

Команда телефонистов. Ладная дружная семья в тридцать человек. Общий любимец:

— Глазков Тит.

В голубых глазах теплота и участие к чужому горю. Всегда он дружный, ласковый и веселый. Молодой человек и уже старый солдат. Он воюет с самого начала, был два раза легко ранен, много раз в дни наступлений проваливался через тонкий лед в холодные ямы воды, тонул в озере Нароч, до крови царапал руки в колючей проволоке, исправляя разрыв в паутине телефонной связи. Лишения и горечь жизни не отравили его открытого сердца и если получит он самое тяжелое поручение, если пошлют его ночью куда нибудь в „собачий ящик", Глазков идет с веселой шуткой.

Через туман уходящих дней мне не забыть тебя, мой чуткий товарищ, ты мне дорог, как свет отгоревших костров, как дни неповторимой молодости.

Бывало, в грустную минуту, скажет кто-нибудь, разгоняя тоску:

— Ну, Титушка, запевай, что-ли.

Глазков ласково улыбнется и начнет высоким тенором нашу любимую:

Разведка[1].

Из окопов на разведку,
На простор волнистой ржи,
Выползают в одиночку
Полковые молодцы.

Наш полковник черноусый
Поймать немца приказал,
Кто поймает,—крест с медалью
И полсотни обещал.

Но разведчик про то знает,
Какой крест ему дадут:
Хорошо, коль закопают
Иль поверх земли сгниешь.

А поэтому не старались
Немца пленного поймать,
А полковнику сказали:
— Немца негде нам сыскать.

Но полковник не унялся
И приказ такой издал:
С командиром одну роту
На поддержку нам послал.

Вот стоит-же эта рота,
Не жива и не мертва,—
Только слушает уныло
Командировы слова.

---

[1]) Солдатская песня, записанная в 1916 году на Юго-Западном фронте—поется на мотив „Из за острова на Стрежень“.

Вот команда раздается:
„Шагом марш, правым плечом“.
Тут вся рота закричала:
„Не пойдем мы, не пойдем“.

Тут полковник к нам явился,
Стал он дело разбирать,
Кто осмелился в той роте
„Не пойдем“ вдруг закричать.

И вторично раздается:
„Из окопов выходи“!
Из окопов выходили
Полковые молодцы...

Как ни ползали—старались
И на брюхе и на спине
И друг к дружке прижимались,
Все же немца нет нигде.

И никто не догадался,
Что полковнику сказать,
И ему-б на место немца
Кусок зеркала послать.

Пусть смотрел бы черны усы
И о зеркале мечтал:
В нем наверно он бы скоро,
Скоро немца увидал.

Звучала песня мрачной балладой солдатского горя, как тоска об утерянной свободе на том берегу. Мрачное отчаяние сжимало сердце. Полковой разведчик, брошен-

ный в волнистую рожь, был образом страдающего брата и звал гладиаторов повернуть свои штыки...

Сложил эту песню неизвестный солдат пехотного полка, взяв за основу действительный случай.

* * *

Снабжение газетами происходило через писарей и вестовых. Газета ходила по батарее из рук в руки, хорошие чтецы, вроде Алпатова, прочитывали ее до строчки, а потом бумага шла на куренье. События политической жизни быстро доходили до солдат.

Но кроме печатной информации была еще своя живая газета.—„Солдатский Вестник"—устная молва. Все новости по корпусу, дивизии и дальше передавались, как по радио, с завидной быстротой. Командир батареи и офицеры еще ничего не знают, а номера уже получили важное сообщение:

— Из пехоты говорили—весь корпус влево перегоняют, сменять сибиряков. Наступление будет.

— А в нашу дивизию скоро пополнение пригонят из Тульской губернии, уж отправили.

— Бригадного-то нашего сменяют, он дивизию получит на северном фронте, а к нам пришлют генерала из пятой армии. Он там полком командовал. Говорят, службист.

— Вчера вестовые говорили—наш опять залился, уж три дня гуляет. Сегодня в пулеметную команду поехал, а там спирту—у!

— На наш фронт немецкую артиллерию прислали на поддержку и аэропланы. Своей-то у австрийцев нехватка. Теперь чегой-то будет.

— Из Петрограда подарки едут в наш корпус, только вагоны плохо заделали, они и сыпятся. Неизвестно, до коих доедут.

„Солдатский Вестник“ передавал самые разнообразные новости и точность его не уступала быстроте. Живая газета без редактора работала прекрасно.

---

5. В офицерской землянке.

Командир батареи—капитан Афанасьев. „Солдатский Вестник“ называет его по имени:

— Глеб, Глебушка.

Или грубо-ласково:

— Наш.

Со всеми офицерами артиллерийской бригады Глеб Ипатьевич весело пил на брудершафт и почти со всеми он на ты. Его любят за простой открытый характер, беспечность, радушие и гостеприимство. Глеб располагает к себе, с ним легко и весело. Он желанный гость во всех батареях, в управлении бригады, в штабе полка, в батальоне, и пулеметной команде. Ни одна офицерская попойка не обходится без него. Он общий любимец в среде товарищей, как Массалитин у солдат.

Толстощекое лицо. Пышные севастопольские усы. Немного похож на жандарма. Но веет добродушием от цветущей фигуры этого толстяка.

Глебу четвертый десяток, он был казначеем в управлении бригады, а батареей командует около года. Полнокровие и радость жизни написаны на его лице. Война открывает перед ним веселый путь по лестнице чинов, вперед и выше.

Глеб холост, жизнь его впереди, а пока:

Наша жизнь ко-рот-ка, все уносит с собою.
Пей-же пей, до дна, пей до дна...

Жалованье батарейного командира во время войны давало круглую сумму. Глеб жил в свое удовольствие, а его кутежи славились на всю дивизию.

Зная от денщиков все подробности попоек, номера возмущались:

— Кому как, а нашему война на пользу. Ряжку-то решетом не закроешь. Гладкий. Да и какая у него забота: утром халуи поставят самовар, напился-наелся, бумаги подписал и понес: то в пулеметную команду, то в управление к отцу Паисию, то в штаб полка. А уж если в парк попадет, тогда три дня без просыпу загуляет. Там спирту много. Главная вещь, везде друзья по одному делу. Начальство... им война!

Глеб любит комфорт и удобства, чтобы жить—чорт возьми!—на широкую ногу. Офицерская землянка должна быть сделана в виде просторной комнаты, где можно как следует принять гостей. Голландская печь, большой стол во всю длину, по стенам походные кровати—„гинтеры“—складные стулья, табуреты и трубка полевого телефона.

Шумно и весело празднует Глеб свои именины. Денщики и два повара мобилизуются за несколько дней. Глеб заказывает блюда и соусы, готовит вина, достает спирт. Вечером он радушно встречает званных гостей из бригады и полков. Приезжает „батюшка“ из управления бригады и ветеринарный врач „отец Паисий“, начальник пулеметной команды и командир батальона, адъютант и бригадный командир—все друзья. После третьей рюмки появляется неожиданная гитара и Глеб, ловко ударив по струнам, начинает свою любимую:

Поговори хоть ты со мной
Подруга семиструнная!
Моя душа полна тобой,
А ночь такая лунная.
  Заморозил, зазнобил
  Знать, другую полюбил!

А потом лихо: „Эх, чарочка моя“ и все хором:

Выпьем же за Глеба,
Глеба дорогого:
А пока не выпьем,
Не нальем другого.

Еще несколько бокалов, хмель сладким дурманом кружит в голове, открывая влекущую туманную даль. Глеб начинает высоким тенором:

С времен давным давно минувших,
С преданьев иверской земли
От наших предков знаменитых
Одно мы слово унесли.
В нем наша удаль и утеха,
Товарищ счастья и беды,
Оно у нас всегда звучало:
Ала-верды, ала-верды!

Стук ножей, звон бокалов. Глеб поет остро веселые, неприличные частушки, подражает пьяному немцу, перед каждой рюмкой говорит прибаутки и рассказывает анекдот про молодого прапорщика и старого генерала, как они ночевали на одной кровати в варшавской гостинице.

Среди веселья Глеб капризно хлопает в ладоши, требуя денщиков.

— Эй, ангелы-архангелы, позвать Сергеева!

Через несколько минут в землянку смелыми шагами входит и останавливается у двери разведчик Сергеев. У него такой вид, словно никаких гостей не видит и ничего особенного не происходит, а вызвали его по делу, вот он и пришел:

— Честь имею явиться, ваше высокоблагородие,— громко рапортует Сергеев, и лукавые огоньки дрожат на его неулыбающемся лице.

— А, молодец, это ты? Что скажешь?

— Изволили требовать, ваше высокородие.

— Да-да-да. Ну-ка, вот-что: пей! Василий, налей ему фужерчик.

Сергеев скромно отказывается:

— Да не стоит, ваше высокородие.

— А я говорю—пей!

Вежливо и церемонно, как жених, берет Сергеев от денщиков чайный стакан, из уважения отворачивается к стенке и выпивает в один прием.

Глеб с удовольствием смотрит на него:

— Ну, Сергеев, повесели кампанию. Что можешь рассказать?

— Да есть смешное, ваше высокородие,—только уж очень скоромное...

— Валяй!

— Так что неудобно при господах офицерах.

— Дуй!

Тогда Сергеев, при взрывах общего смеха, начинает бойко декламировать басню такого содержания, что непривычный молодой прапорщик Вязьмитинов смотрит на него, не улыбаясь, широко-открытыми глазами, пока Глеб не толкнет его в бок:

— Что, прапор, уставился, как на новые ворота? Здорово?

— Эх, чарочка моя!..

Кутеж продолжается до мертвой точки. Глеб не признает середины:

— Сел за стол, так уж пей до дна!

Гости разъезжаются на рассвете.

* * *

Глеб—кадровый офицер, политикой никогда не занимался и, однако, он не монархист. В своей компании, за

стаканом чая, он посмеется над Пуришкевичем и Марковым вторым, возмутится постановкой дела на фронте и в тылу, скажет, что „так нельзя“, что после войны обязательно должны быть реформы, что должен быть настоящий парламент.

К войне он относился просто:

— До победного конца и никаких испанцев!

О внутренней жизни солдат Глеб знал меньше, чем помощник кашевара в батарее. У него было твердо сложившееся мнение кадрового офицера, что солдат есть послушное орудие, бездумный исполнитель, который не должен, да и не может „рассуждать“. И разве не таким является на вечерний доклад почтительный фельдфебель Минаков, когда он вежливо покашливает в руку и улыбается на командирские шутки. А чем плохие солдаты вот эти вышколенные молодцеватые денщики или ездовой из резерва, который так весело вытянулся во фронт?

Когда революция была за плечами, он и слышать не хотел об усталости своих солдат и не имел понятия, как его номера и ездовые относятся к войне.

Скажет когда-нибудь избалованный повар Толмачев:

— Ваше высокородие, неужели еще целый год воевать придется?

Глеб возмущен:

— Ну, я понимаю, в пехоте, там, правда, тяжело. Посмотришь, сколько им приходится переносить, жуть берет. Часто идут на верную смерть, грудью на пулемет. А эти-то что? Артиллеристы. А видали они штыковую атаку, ходили в разведку? Подумаешь: ус-та-ли! А чего он в деревне жрал-то? Мяса много видал? Здесь ему каждый день порция в полфунта, свежий борщ, каша, девять кусков сахара. Просто люди с жиру бесятся. В пехоте—другой вопрос, там, правда, тяжело иногда

приходится, да и то... Небойсь дотерпят, пока не побьем немцев!

Несмотря на природное добродушие, Глеб капризен, избалован и вспыльчив, как порох; если что не по нем, он забывает себя, накричит, обругает, пригрозит отдать под суд. Солдаты называют его:

— Спичка.

Во время боя Глеб становится нетерпим. Пошлет к чорту, к дьяволу, обложит по телефону в третий этаж дежурного офицера, назовет дураком. Вечером офицер приходит бледный, с неостывшим оскорблением в глазах, а Глеб все забыл, он беззаботно весел и как ни в чем не бывало:

— Ты что, Петрунька, злой? Пойдем чай пить, будет дурить. Эй, ангелы-архангелы, скорей самовар.

Среди офицеров Глеб считался одним из лучших командиров; говорили, что у него верный глаз, уменье ориентироваться и он в совершенстве управляет артиллерийским огнем. У солдат было свое мнение и они думали по другому:

— Какой он к свиньям стрелок? Толком не узнает ничего, сейчас тебя матом и прямо в морду лезет, а разберется с делом и остыл. Одним словом „спичка“ — вспыхнул и враз потух. Несамостоятельный человек. То ли дело полковник Радецкий командовал, вот это был командир, это да.

— Глеб? Да он и по карте ничуть не разбирается. Как сам батарею поведет, обязательно или в болото загонит или в речку и стоп машина. Сам-же дорогу потерял, а разведчики ему виноваты. А в бою-то уж и не говори: лепит снаряды один в немцев, пять по своим. Взбесится, у него глаза застилает и своих разрывов не найдет. Пятая батарея стреляет, а он думает, что

его гранаты рвутся. Все перемешает. Таких командиров-то!..

„Солдатский Вестник“ сообщал о Глебе точные факты.

Рассказ Глазкова.

В бою под Михайловкой наша дивизия наступала слева. В цепях был Колыванский полк, а Смоленский стоял позади на поддержку. Мне с Мухортовым пришлось дежурить на передовом наблюдательном. Мы вырыли окопчик и легли у аппарата, а Глеб с разведчиками наблюдал через копну возле нас. Любит сам корректировать стрельбу. Слышу—горячится наш Глеб:

— Осемь-ноль, трубка осемь ноль, о-гонь!

Я передаю в телефон, как есть. А снаряды австрийцев бушуют по пехоте, как вьюга. Наша батарея начала стрелять очередями. Глеб наладил все на одном прицеле:

— Осемь-ноль и осемь-ноль.

Выстрелов пятьдесят батарея наша сделала, слышу: из полка вызывают по телефону:

— Третья батарея!

— Батарея слушает.

— По своим бьете, так вашу чорт! Что вы, ослепли?

Я докладываю.

— Ваше высокородие, из пехоты говорят, наши снаряды по своим ложатся...

А он:

— Замолчи, сволочь, слушай команду.

И опять:

— Восемь-ноль, о-гонь!

Две очереди дали. Из пехоты опять звонят:

— Третья батарея, вы долго будете по своим лупить? Доложи враз командиру батареи.

Я опять Глебу говорю. Как он пыхнет, чисто порох—правду говорят: спичка—взбесился человек и на меня:

— Ты замолчишь, сукин сын! Морду набью!

А наблюдателем тогда был Потапов, по стрельбе он здорово соображал. И говорит он Глебу то:

— Ваше высокородие, правду наши снаряды чегой-то близко ложатся, вроде над нашей пехотой? Может, прицел прибавить на двести саженей?

Наш и слушать не хочет. Знай свое:

— Восемь-ноль и восемь-ноль...

Из штаба полка в третий раз звонят:

— Третья батарея, вы что-же смеетесь там? Ведь русским языком сказали: по сво-им бьете, чорт вас лупи совсем? Кто у телефона?

— Телефонист.

— Командира батареи к телефону.

Ну, как ему сказать? Ведь он, как бешеный и сам себя не помнит. И не сказать нельзя... Набрался духу, говорю:

— Ваше высокородие, к телефону вас просят из штаба полка, они говорят, что снаряды по своим бьют.

Глеб так ногами на меня и затопал:

— Ты,—говорит,—долго будешь еще рассуждать, болван? Доложи старшему, чтобы поставил тебя под ранец на четыре часа. Знай свое место, дурак, и не суйся. Передавай команду, ну?

А сам сверху-то палкой в окоп так и стучит. Того и гляди по глазам попадет или в зубы.

Крыть нечем:

— Слушаю, ваше высокородие...

Так и поставил на своем Глеб и выбросил снарядов на том-же прицеле штук двести, пока сам дистанцию не прибавил. Ни за что пропали бедняки в Колыванском

полку. Потом уже после боя, когда австрийцы отступили, мы ходили смотреть, как отличилась наша непромокаемая батарея. И вот видим своими глазами, как лежат колыванцы кто во ржи, а кто на проволоке повис и все побиты сзади.

Ведь это что... А нашему сошло нипочем. Ему все как с гуся вода и ничего за это не было.

* * *

Этот случай был известен всей батарее и общее мнение солдат:

— Какой он к свиньям командир: с делом не разбирается, чуть что матюгает и в морду. С дурьей головы и своих перестреляет. С таким коноводом пропадешь!

В разговоре с командиром взвода, прапорщиком Вязьмитиновым, я спросил его мнение о Глебе и услышал непоколебимое:

— Отличный руководитель стрельбы, лучший командир артиллерии, он любимец солдат.

Тогда, не называя лица, я рассказал случай под Михайловкой и убедился, что Вязьмитинов не имел о нем представления, словно это было за тысячу верст. Но это не убедило его:

— Послушайте, да это-же чистейшая ерунда: перепутали в горячке нижние чины и только. Слушай только эту публику. Да быть этого не могло. Ну, Глеб горяч,—это правда, но чтобы до такой степени?—Е-рун-да!

Мы говорили на разных языках: я знал жуткую солдатскую правду, а Вязьмитинов не хотел и не мог ее узнать.

* * *

Управление сложным хозяйством батареи не требовало от Глеба никакого труда. Фельдфебель, взводные, фейерверкеры, каптенармусы и писаря в совершенстве знали свое дело. На них можно было положиться в спокойной уверенности, что все будет прекрасно: будут во время получены снаряды, будет фураж, будет мясо из интендантства, будет в порядке амуниция, а отчетность всегда готова к первому числу—все сделают верные надежные люди. Командиру остается подписать готовую ведомость, акт или рапорт, он полюбуется на сытых лошадей, прогуляется с палкой по резерву, а там завей горе веревочкой.

Прогуливаясь по резерву, Глеб подтянет ездовых за неряшливый вид, накричит на кашевара и распушит на все корки писарей:

— В пехоту отправить вас,—кричит Глеб.

Через час он все забыл—он не помнит долго зла. Цветущий и веселый, он едет на экипаже в управление бригады кутить к „отцу Паисию". Он спокоен за батарею: все сделают Минаков, Плешаков и Круглов.

— Эх, чарочка моя!..

* * *

Каптенармус получил долгожданные сапоги — сорок пар на всю батарею. Распределяет их заведующий хозяйством поручик Сорокин. За получением сапог является телефонист Волосатов:

— Ваше благородие, разрешите доложить?

Важным баском:

— Докладывай!

— Так что сапоги, ваше благородие, все сопрели— голенищи и то чинить нельзя. Так что разрешите получить новые.

Сорокин смотрит на ветхие изношенные сапоги и вдруг:

— Ах ты, болван! Ты их нарочно порвал, и смеешь просить, сволочь!

— Никак нет, ваше благородие, я их не рвал. При нашем деле никакие сапоги долго не носятся: ночью по линии как пойдешь, грязь по колено—я все руки о проволоку исцарапал.

— Молчать—я тебя насквозь вижу, дурак! Ты меня учить. Сами сволочи рвете, чтобы поскорей новые получить, я вас знаю. Не жалеете казенного добра!

— Ваше благородие...

— Что-о? Стать смирно. Налево кругом марш. Пшол!

Волосатов приходит в землянку телефонистов со слезами на глазах:

— Что я ему, собака? Главная вещь, зачем сволочить человека? Не хочешь давать, не давай, а лаяться нечего. Сам разорвал сапоги—это я-то! А кто по колено в воде под озером Нароч все окопы излазил, как не мы с Мухортовым? Сапоги не железные. Теперь что-же, босиком ходить, за ту работу? И опять-же: зачем сволочить и псарма! Ну, скажи не дам и конец, а то прямо с матюга! У самого в гинтере три пары новеньких, а тут разувши ходи... Начальство, им война нужна!

К осени шестнадцатого года фронт почувствовал недостаток обмундирования. Нехватало шинелей, гимнастерок, белья и,—в особенности,—сапог. Нужно было делить и распределять. Сорокин делал это по своему усмотрению. Лучшие сапоги и шинели доставались почему-то

вестовым, писарям и каптенармусам, кто поближе и половчее, а номера и телефонисты ходили в обмотках и рваных негодных сапогах. Землянки кипели ульем. Злые слова хлестали воздух.

Поручик Сорокин очень доволен своими тремя звездочками. Он живет умеренно, не пьет и не курит; подражая Глебу, он ходит без пояса и с палкой. С подчиненными он сух, груб и несправедлив. На солдат он смотрит с нескрываемым пренебрежением:

— Нижние чины!

Сорокин получил „клюкву“—орден Анны и золотое оружие; он считался опытным боевым офицером. Назначение в заведующие хозяйством было для него повышением по службе. Солдаты не любили его.

— Сорокин—человек недобрый, зазнался и нашего брата не уважает. Боевой офицер, кто? Чем его контузили-то, знаешь? Чем? Телеграфным столбом по одному месту. Лаяться здоров.

Солдатский язык был пересыпан, как солью, острыми словами. Они густо насыщали дружескую речь, споры и рассказы, воспоминания о прошлом, и партию в двадцать одно. Но эти слова употреблялись между равными беззаботно и легкомысленно, без злой отравы, как грубо-ласковая шутка. Они скользили по поверхности, не вызывая обиды. Мое ухо привыкло к этим формам речи и я продолжал чувствовать себя в семье добрых товарищей.

Но совсем другое впечатление получалось от недостойной привычки „господ офицеров“ материться на своих подчиненных. Если там говорил равный с равным на общепринятом языке, то здесь был неограниченный начальник против безответного „нижнего чина“, который, (по уставу) должен отвечать, держа руки по швам, кото-

рый в любой момент мог получить (уже не по уставу) „по морде“, который должен отвечать:

— Слушаю, понимаю, так точно, никак нет...

Нехорошо было видеть, как молодой прапорщик, только что приехавший из военного училища, желая показать себя настоящим офицером, начинает „выражаться“ на провинившегося солдата. Было противно.

Солидный боевой поручик Сорокин рассуждал так:

— Дело в том, что нужно учитывать психологию нашего солдата. Они не воспринимают, если им скажешь просто так, а вот если матюкнешь как следует, так сразу тебя поймут. Значит, сказал на их языке. Уж я-то знаю этот народ. Кто говорит, что это оскорбительно? Ска-зочки, дорогой мой, расскажите барышне на балу, а мы не гимназисты, мы—боевые офицеры, мы воюем третий год и знаем, где раки зимуют.

Доказать Сорокину противное, убедить его в том, что он глубоко заблуждается, не знает своих солдат, что это другие люди—было невозможно. Так думали все.

Офицер считал себя высшим существом и как он мог обращаться к бесправному нижнему чину? Ударами грубосколоченной брани...

Прапорщик Вязьмитинов, высокий и тонкий, как хлыст, в длинной шинели Константиновского Артиллерийского училища, подражая старшим и делая злые глаза на безусом лице, кричит на почтенного умного Алпатова:

— Эй ты, телефонист... Ты что галок ловишь? Вот под ранец тебя поставлю, трах-тара-рах.

Он еще молод и глуп, этот Вязьмитинов, он и сквернословит, как приготовишка, но у него золотые погоны и право безнаказанно издеваться над своими солдатами.

Стена недоверия и глухой вражды поднималась вокруг „господ офицеров“.

* * *

Командир третьего взвода подпоручик Левашов Илья Васильевич: Курица не птица—он на особом положении. Он не кадровый офицер, не был в военном училище. Когда-то он был простым, обыкновенным солдатом. Илья Васильевич старый ветеран, в японскую войну получил чин фельдфебеля и все четыре креста. Потом годы службы, погоны подпрапорщика в начале войны и производство в младшие офицеры. Ему за сорок лет. Крепкий мужчина с монгольскими линиями упрямого лица, среднего роста, сшит из мускулов и костей.

Илья Васильевич не расстается со своей старой лошадью „Нанкин", которую подобрал в боях у Мукдена. Уже лошадь ослепла на один глаз, ослабела на ноги и спотыкается на ровной дороге, но Илья Васильевич будет спорить с кем угодно, хоть с самим командиром батареи, что лучше „Нанкина" коня не сыщешь, что он вынослив и резв, а главное:

— Надежный конь.

Глеб не скрывает своей неприязни к Левашову, как бывшему фельдфебелю, попавшему не в свои сани. Знает Илья Васильевич, что и остальные офицеры относятся к нему со скрытой иронией, что его вышучивают за глаза и он чувствует свое одиночество в офицерской землянке. В первый год войны подпоручики Сажин и Попов, сговорившись, травили Илью Васильевича безжалостно шутками и намеками. Произошел скандал, Левашов сгоряча пытался застрелиться, вмешался полковник Радецкий и дело уладили переводом подпоручиков в другую батарею.

После этого случая открытое издевательстро прекратилось, но Левашов по прежнему оставался чуждым

и одиноким в новой среде. С его мнением не считались, его игнорировали, ему при каждом случае давали понять, что он не развит, „не наш“ и погоны-то он получил только из за войны. У Ильи Васильевича развивалась болезненная подозрительность и недоверие к людям. Он замкнут и остро самолюбив.

Илья Васильевич пишет крупным полудетским почерком, он малограмотен, но дело свое знает. Он неутомим в заботах о своем взводе, он по своему любит солдат и понимает их, он умеет говорить с номерами простым спокойным языком, он строг по привычке старого фельдфебеля, но бессмысленно не ругается и никогда не ставит под ранец. Чтобы не уронить себя в глазах Глеба, он избегает особенной простоты в общении с солдатами.

Левашов способен и умен, но что он мог узнать и чему научиться в казарме? Он прост и ласково шутлив с солдатами, не в пример другим офицерам, он знает солдат по именам и фамилиям, у него меткая народная речь и однако... он чужд солдатам своими золотыми погонами, своими взглядами на войну до полной победы, на присягу, наивным патриатизмом и своей немудрой философией верного служаки.

На исходе второго года войны солдатская масса напористо и единодушно шла по пути внутреннего освобождения.

Зарождалась новая правда.

---

6. Глухая стена.

Штатским людям в тылу было непонятно:

— Откуда может быть недоверие у солдат к офицерам? Они вместе рискуют своими головами, едят из одного котла, несут одну тяжесть и сообща делят горе и радости боевой жизни.

Военные корреспонденты продолжали восхищаться фронтом: какое там единодушие, как отважны молодые офицеры и мужественны скромные серые солдаты и какая это дружная боевая семья. Ах, как хорошо было почитать „Русское Слово“ или „Новое Время“ у камина при свете вечерней лампы.

А настоящий, живой солдат на фронте с каждым днем наливался острой ненавистью к офицеру, считал его причиной своего солдатского безъисходного горя, видел в нем личного врага. Расстояние между „нижними чинами“ и офицерами увеличивалось, и выростала между ними непроходимая глухая стена.

Было много слагаемых у этой нарастающей трагедии. Царская сословно-монархическая армия держалась на резком неравенстве бесправных нижних чинов и безответственных властных начальников.

Фронтовому солдату выдавалось двойное жалование 90 копеек. Рядом с ним офицеры получали от 150 до 500 руб. На эти деньги можно было покупать ненужные

вещи, душиться одеколоном, пьянствовать и кутить. Разница материального положения била в глаза. Создавалась уверенность, что офицеры воюют за свое жалование, за погоны, за чины и ордена, а солдат — за несчастные 90 копеек.

Военное хозяйство находилось в руках офицеров в лице заведующих хозяйством. А эта должность слишком часто использовывалась, как доходное место, где безнаказанно можно греть руки. В батарее надо было прокормить, снабдить всеми видами довольствия больше двухсот человек с таким-же количеством лошадей. Для этого требовались крупные денежные суммы на закупку хозяйственным путем сена, овса, канцелярских принадлежностей, муки и мяса; продовольственные запасы протекали широким потоком. На бумаге все учитывалось с математической точностью, денежный ящик был всегда опечатан и охранялся караулом, для каждой копейки выписывался оправдательный документ, отчетность за каждый месяц проверялась особой комиссией.

Контрольная комиссия постоянно завершалась благополучным актом и не было случая, чтобы комиссия нашла какие-нибудь неправильности или злоупотребления. А тем временем старшие офицеры-завхозы широко пользовались всеми путями, с помощью писарей и каптенармусов, выкраивать кругленькие суммы за счет „провиантского приварочного, чайного и фуражного довольствия“, создавать экономию за счет солдат и лошадей, и спокойно откладывать в карман излишки по своему усмотрению.

Накопление лишних „экономических“ сумм шло разными путями. Главным-же источником был фураж, о чем не подозревали артиллерийские лошади. В боях и переходах, когда передовые части отрывались от интен-

дантства на недели и месяцы, кормить лошадей приходилось своими средствами. Разрешалось покупать у населения фураж и проводить этот расход по счетам. В практике завхозов не принято было покупать фураж за деньги, а делалось проще: останавливались на бивуак, ездовые марш косить овес в поле, а то доставай по амбарам. Или пошлют фуражира по деревням:

— Без овса не приезжай.

К вечеру медленно ползут повозки с фуражем, который сумел достать этот молодец, а как достали, ну... это знаете... Где купили по дешевке, а где и так. Командиры батарей любили хвалиться ловкостью своих фуражиров, кто лучше и скорее сумеет достать овес хоть на луне.

Как только войсковая часть выводилась на отдых или останавливалась на месте, завхозы начинали сводить отчетность. И не было никакого риска поставить в расход 600-700 рублей или сколько захочется за „купленный овес“. Кто это станет разбираться и проверять, есть-ли в деревне Голятин Горный крестьянин Шевчук и подписал-ли он расписку в получении денег? Ведь нужно было покупать овес. Нужно. Покупали фуражиры—да, так в чем-же дело? Но, знают писаря, что счета липовые и подписывал их некто в сером, знают фуражиры, что ездовые косили ночью овес почем зря, ну, получат они отпуск не в очередь и по десятке наградных—вот и все.

В походной обстановке каждая часть накапливала самотеком разное имущество: лошадей, повозки, запасные кухни, скот, запасы продовольствия и прочее:—«в хозяйстве каждый гвоздь нужен». В нашей батарее было больше 40 «неофициальных лошадей», одна запасная кухня на всякий случай, много повозок, маленькое стадо

овец и коров, два экипажа и много телефонного имущества. Выписывать для этих лошадей и скота фураж из интендантства означало-бы тайное сделать явным. Скрытое имущество требовало скрытых расходов—надо было создавать экономические суммы.

Хозяйство раскалывалось на две части: официальную для штатного состава и неоффициальную для сверхштатного. Первая часть проводилась по отчетам, вторая велась завхозом на совесть и на глазок. Правда, «экономические» суммы в известной степени расходовались и на солдатские нужды—для улучшения котла, на усиленную порцию к празднику, заготовку кожи, сапог и табаку. Но кто мешал завхозу устроить офицерский кутеж, блестящие именины, закупить спиртишку для нужд офицерской кухни и просто отложить себе на черный день и карманные расходы? Командир батареи наблюдал за экономическими суммами между прочим и сквозь пальцы, а проверять мелочи, считать и подсчитывать он считал ниже своего офицерского достоинства—что-же он не доверяет своим офицерам?

Трофейного имущества было много. Оно нигде не записывалось и хорошие вещички быстро разбирались по рукам: офицеры имели запасные бинокли, револьверы, экипажи и собственных лошадей.

Чистый доход приносили отпуска и командировки. Достигалось это тем, что отсутствующие люди продолжали считаться на довольствии и на них аккуратно продолжали выписывать продукты. В распоряжении завхоза образовывался продовольственный запас, который можно было расходовать и для улучшения солдатского котла, и для офицерского стола и для посылочек домой. Нужна была египетская работа, чтобы проконтролировать завхоза в этих расходах. И кто стал-бы этим зани-

маться, если офицерские кутежи, именины и развлечения делались за счет этой благодетельной экономии.

По приказу—офицеры должны были получать продукты для своего стола за наличный расчет из интендантства. Но этого нигде не делалось и фактически продукты получались бесплатно у каптенармуса без всякого учета. Глеб считал это вполне естественным:

— Еще за эту ерунду платить,—говорил он.—Да мы каждый день жизнью рискуем, а тут о пустяках думать. А солдатам котел улучшает кто, думает о них кто. Мы-то не считаем этого? Ну, значит и толковать нечего.

Стройная отчетность по официальной части хозяйства вплеталась своими корнями в негласные экономические суммы, где единственным контролем было честное слово. Но солдаты в этих хозяйственных операциях ориентировались прекрасно; они знали. где, когда и почему образовалась экономия, сколько набралось денег, и куда они пошли. Помнили, как при переброске корпуса под Варшаву батареи оторвались от интендантства, овес и сено не получались, и ездовые добывали фураж своими средствами, как им обещали за это уплатить, а номера против этого глухо возмущались: как? На этом фураже экономия достигла нескольких тысяч рублей.

Неграмотный кузнец Кирюша знал хозяйственные тайны получше Глеба. Он по пальцам мог пересчитать всех завхозов батареи, переменившихся за войну, прикидывал экономические суммы, подводил итоги, делал едкие выводы, и с фактами в руках уличал их во лжи: тот проиграл в карты тысячу рублей и вышел сухим из воды, этот прогулял в Варшаве с цурками и прокутил сам не знает сколько, а поручик Попов в пятнадцатом году мог отложить на сберегательную книжку больше трех тысяч.

— Этот зря деньгами не швыряется, а себе пользу соблюдает.

Кирюша сообщал факты, против которых нечего было возразить: они были десятки раз установлены и проверены солдатской массой.

Управление бригады и штаб дивизии не принимали никаких мер к проверке завхозов. Явные преступники, потерявшие у солдат последний грам уважения, продолжали служить преспокойно, получали награды, повышения и чины, а у начальства были на хорошем счету. Когда вопрос об экономических суммах ставился в офицерской землянке, никто не выражал сомнения в честности завхозов. Говорили, что экономия нужна для самой батареи, для тех-же солдат, что на них тратятся лишние средства и, конечно, ни один завхоз не позволит присвоить себе копейку из этих сумм. А если какой солдат сболтнет глупую фразу о возможности присвоения, то хороший солдат этого не скажет, а на горлапанов обращать внимания нечего.

Поручик Сорокин заведывал хозяйством шесть месяцев и не было фактов, которые бросали-бы на него какую-либо тень. Сорокин был честен и щепетилен, на подлог и воровство он не был способен. Однако, солдаты и на него смотрели так-же, как на его предшественников; они не допускали мысли, что может быть честный завхоз, который не стал-бы воровать:

— Обязательно, да как-же так? Что он себе враг, что-ли. Святой какой нашелся. Сорокин-то, брат, еще лучше тех пользуется, только с умом,—вот мы и не знаем.

— А если не ворует, значит—дурак,—мрачно утверждал Кирюша.

Репутация завхозов в сознании моих друзей стояла на таком низком уровне, что дальше было некуда,

а Глеб в своей наивной самоуверенности не знал, а быть может, не хотел или не умел знать того, что было прекрасно известно неграмотному Кирюше, о чем знала вся батарея.

Факты, о которых сообщал «Солдатский Вестник»,— в них можно еще было сомневаться тогда—подтвердились потом в волнах семнадцатого года, когда на них был построен грозный обвинительный акт. Но тогда было уже поздно...

Все знали, что продукты для офицерского стола получались бесплатно и в неограниченном количестве, без всякого учета. Номера говорили:

— Пусть наши господа выписывают продукты из интендантства, как по приказу полагается. А то что-же, они будут котлеты жарить, пьют чай в накладку и гуляют почем зря за наши денежки. А мы не желаем.

Офицеры легкомысленно использовали свою безответственность; они не видели, что отрываются от солдат и волны глухого недоверия закипали вокруг них. Резкое неравенство положений оставалось на фронте во всей остроте. Офицер имел денщика, ходил в чистом белье, возил самовар, духи, туалетное мыло и прочее—солдат нуждался в самом необходимом, носил рваные сапоги и вшивое белье, получал скудную пищу.

Образцовый солдат армии должен был ведать только одну заповедь:

— Не рассуждать.

Безответственность переходила в явное издевательств над личностью рабов.

Конный разведчик Матвеев рассказал мне случай походной жизни:

— Переход мы сделали верст больше сорока. Стали на ночлег в поле. А темно, хоть глаз коли, и дождь

начал моросить. Кое-как раскинули палатки, расседлали лошадей, стали ложиться. Слышу, подпоручик Сажин шумит из палатки, чтобы дали конного ординарца везти срочный пакет. Назначают меня. Вот ставит он на конверте три креста и велит ехать в шестую батарею, передать ихнему заведующему, и чтобы сейчас-же ответ. А где шестая батарея, сам толком не знает. Найди, и вся. Плутал я всю ночь по какому-то лесу, потом выехал на пашню без дороги и чуть не попал в болото. Только уж на рассвете кое-как нахожу шестую батарею. Передаю заведующему пакет. Вот он прочитал, пишет на бумажке ответ и передает мне. Еду я обратно, уже светло и думаю, дай почитаю, что пишет—конверт-то не запечатан. Открываю я ту бумажку и читаю: «Мишка, спирту нет, но постараюсь достать. Тогда кутнем». Закипело у меня сердце: из каких пустяков он меня гонял всю ночь. А я-то думал—три креста, вот они к чему... Куда пойдешь, кому скажешь. И все терпит бедный солдат!

Глеб никогда не давал себе труда продумать своих распоряжений, чтобы не тратить напрасно солдатского труда. Об этом он совершенно не заботился. Особенно любил он менять наблюдательные пункты: походит с биноклем по окопам, посмотрит, выберет сгоряча и сейчас-же двадцать рабочих номеров с лопатами марш оборудовать пункт; работают несколько ночей по сменам, ездовые подвозят тяжелые деревья для блиндажа, номера копают землю, наконец, все готово и вдруг... новое приказание.

— Перенести наблюдательный пункт на триста саженей вправо.

Оказалось, что с первого пункта не видно главных целей. С такими пустяками, как напрасная работа десят-

ков людей по легкомысленной ошибке „его высокоблагородия», никто и не думал считаться:

— Небось, здоровы, делать-то все равно им нечего. На то война!

Но если беспечный патриций считал пустяком напрасный труд солдата, бесправная масса плебеев чувствовала острую обиду:

— Что-же он нас дурачит-то? На энтом наблюдательном ворочали-ворочали, и все к свиньям пропало. Теперь здесь работай, ночь не спавши, и опять бросать!.. Правду говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Работа дураков любит. В батарею, в командира, в войну!!!

Глеб вел беспечную веселую жизнь, он кутил в шумных компаниях, широко и открыто, совершенно не стесняясь своих солдат. Однажды «отец Паисий» достал полведра спирта, собрались гости, начался пир. Веселые тосты. Глеб был в ударе, он особенно удачно пел „Поговори хоть ты со мной“ и „С времен давным давно минувших“, а потом танцовал кэк-уок и рассказывал острые анекдоты. Качали на ура Глеба и «отца Паисия», а бригадный священник не выдержал, упал под стол, и сейчас-же заснул с бутылкой в руке.

В три часа ночи резкий гудок на батарею и заплетающимся неверным языком:

— Бат-таррея?

Телефонист:

— Батарея слушает.

— Ттретья батарея?

— Так точно, третья, ваше высокородие.

— За ттретью урра...

— Точно так—ура.

— Кто у телефона? Что? Как там орудия, а? По какой цели ночная наводка? Снаряды есть?

— Так точно, по цели номер пять.

— А ну, славная третья батарея, бей немцев!

— Никак нет, ваше высокородие...

— Что-о? Я приказываю! По цели номер пять — о-гонь!

— Да неудобно, ваше...

— Ах ты, сволочь! Как твоя фамилия, барбос? Ты... ты...

Пьяный голос оборвался и трубка замолчала. Как потом рассказали денщики, капитан Аксенов на этих словах уронил трубку и мертвым грузом скатился под стол на спящего священника. Утром вся батарея знала подробности пьяной шутки Аксенова из уст бледного от бессонной ночи взволнованного телефониста. Ропот возмущения дрожал в плебейских землянках.

* * *

Был случай, когда в интендантстве произошла какая-то заминка, доставка задержалась и батарея два дня не имела хлеба. Голодный желудок раздражал утомленные нервы.

В полночь дежурные телефонисты сторожили связь, лежа в землянках с прижатыми к уху трубками микрофонов. В полевом телефоне разговор разносится по всей линии и телефонисты слышат все приказы, разговоры и телефонограммы. От них можно узнать все новости: что восьмая рота сегодня ночью пойдет на разведку, а третий батальон сменяется на отдых; что командир полка распушил на все корки ротных за плохие землянки в окопах и назначил другого завхоза; что вчера на правом фланге австрийская разведка подползла к самой проволоке и забросала грана-

тами наши дозоры; что из шестой роты восемь человек ушли в плен, бросив винтовки, и командир полка приказал написать воинскому начальнику о перебежке „нижних чинов“. Телефонисты были главными хроникерами „Солдатского Вестника“.

Днем и ночью перекликаются они условными точками-тире:

— Тра-та-та, та-та.

— Батарея слушает.

— Поверочка, дорогой.

— Та-та, та-та.

— Лезерв слушает.

— Поверочка, дорогой.

— Глазков, ты?

— Я, ребята чего делают?

— Спать легли, а Лежнев сказку рассказывает.

— Длинную?

— Да уж часа полтора говорит.

— Та-та-та.

— Наблюдательный.

— Поверка. Сколько там время-то?

В полночь запищало в трубке знакомым: точка-два тире, точка-два тире.

— Та-а,-та-та, та-а, та-та.

— Батарея слушает.

Голос Глеба:

— Батарея? Дай управление бригады. Ветврача к телефону. Слушаете? У телефона командир батареи Афанасьев. Это ты, отец Паисий? Здравствуй, отче. Ну, как насчет спиртишка? Да мы тебя к лику святых причислим, ей-богу. Слушай, отец, приезжай к нам, тут все, а спиртишку не хватает. Но закуска—пальчики оближешь—есть семга, маринованные грибы, шпроты, да сей-

час я своим архангелам закажу шашлык. Приезжай, отче, я сейчас за тобой экипаж посылаю. Да что три версты? Приезжай! Значит ждем, ладно?

Здесь произошло неожиданное. Звонкий голос ударил кирпичом по стеклу:

— А рожна не хочешь и тебе и Паисию?

Глеб вспыхнул:

— Кто безобразничает? Всех дежурных к аппарату. Под ранцем сгною, барбосы, откомандирую в пехоту бездельников!

Но виновный не находился. Все дежурные отвечали одно:

— Не могу знать, ваше высокородие, кто это шумнул такую глупость—должно быть, из пехоты кто озорничает, им по индукции все слышно. Не могу знать.

Спичка потухла. Глеб успокоился и через час беспечно кутил „с отцом Паисием", забыв про угрозы.

Вся батарея приветствовала смелость Бершадского, который дежурил в эту ночь на передовом наблюдательном пункте:

— И молодец этот Никита!

— Отлил пулю.

— Этот не боится.

— И как его по голосу не узнали, вот чорт-то!

Горели отравленные дни. Плебеи наливались ядом наростающего мрачного гнева.

Глухая стена выростала все выше.

7. Под Лобачевкой.

В июле шестнадцатого года, после брусиловского наступления, батарея стала на спокойной закрытой позиции. По карте трехверстке надо найти деревню Лобачевку, провести на север короткую линию, и здесь, в лощине расположились наши маскированные пушки. Деревня продолжала существовать только на карте, а на земле от нее оставались стены разбитых домов с черными столбами закопченых труб и одиночные деревья, опаленные огнем снарядов. Ни одного человека не видно у покинутых жилищ. Муравейник был разорен железной палкой.

За Лобачевкой у реки расположился обоз Смоленского полка, а влево от него дымит кухней резерв четвертой батареи.

Наша позиция находится в поле затоптанного овса. Спереди батарею закрывает гребень невысокого холма, за которым тянется в случайных изломах неверная линия передовых окопов в острой, всегда таинственной, близости противника.

У нас три наблюдательных пункта, они выдвинулись далеко вперед к пехоте, с телефоном, биноклями и трубой Цейса. Батарея должна днем и ночью следить за противником, не упуская его скрытых движений.

Главный наблюдательный пункт находится на бугре в самой середине участка; здесь по очереди дежурит

один из офицеров с телефонистами и разведчиком-наблюдателем. Боковые пункты — правый и левый — расположены в передней линии окопов, они обслуживаются одними солдатами.

От батареи влево ведет тропинка в высокую рожь. Итти все прямо, быстро перебежать открытую поляну на глазах близкого леса, занятого противником, спуститься в овраг и подняться по дороге через кусты. Здесь и будет блиндаж главного наблюдательного пункта, откуда в бинокль открывается живая картина засеянных полей, деревья у полевых колодцев, рощи и далекие хутора. Хорошо видно движение в наших окопах, как в пятой роте солдаты роют землянку и подкатывают тяжелые бревна, как пулеметчики набивают патронами ленту, а ротные телефонисты, как муравьи, тянут линию вдоль окопов. Похоже все это на городок в табакерке, словно все это не настоящее, а игрушечное, из волшебного фонаря, из мира лилипутов. Такими же игрушечными кажутся и австрийские окопы, уходящие зигзагом по бесконечной кривой. Вот замаскированное в траве пулеметное гнездо, сверкает на солнце штык от игрушечной винтовки, а на желтой от глины земле печально лежит голубая каска. В точный перископ трубы Цейса видно, как сменяется австрийский дозор, а по ходу сообщения двигаются мерным шагом серые фигуры.

Боковые наблюдательные пункты придвинулись к противнику совсем близко. Игрушечная даль превращается в настоящее, в напряженную близость противника, в скрытую тревогу ожиданий. Полоснет над самым ухом сухим ударом винтовка, прилетит внезапная шрапнель и разорвется над землей в нескольких шагах — это настоящее... Утомленные сердитые лица, винтовки с примкнутыми штыками, сумки ручных гранат, остатки супа в медном

котелке, зияющая черная воронка в колючей проволоке перед окопами, ротный фельдшер с красным крестом и двое раненых из нашего секрета — все это настоящее, будничное, покрытое серым цветом, но полное близкой тревоги ожиданий.

В окопах негромкие голоса. Ленивый воздух отдыхает. Редкие пули пролетают над головой.

В самый полдень на правый наблюдательный является Глеб в сопровождении Ильи Васильевича. По сравнению с командиром шестой роты, подпоручиком Каблуковым, с его измятой шинелью и заспанным небритым лицом, Глеб кажется франтом.

— Ну, господин ротный,— говорит Глеб,— где у вас тут самый опасный враг? Сшибем, что-ли, пулеметишку?

— Ты вот, что, Глеб, нащупай-ка их бомбомет, это да. По целым ночам галок посылает. Нужно этого чорта сбить.

— Давай попробуем — где он?

— А вот смотри прямо через проволоку, за ней бугорок, потом ход сообщения к колодцу и тут он должен быть.

Глеб начинает искать биноклем, находит какую-то точку, вымеряет по карте и дает резкую команду:

— Бат-тарея к бою, по цели десять!

И сейчас-же дежурный телефонист в трубку:

— Батарея к бою — по цели номер десять.

В лощине на стоптанном овсе закружилось вихрем:

— Номера к орудиям, батарею к бою, по цели номер десять.

Через орудийных фейерверкеров катится нарастающей волной:

— К бою — по цели номер десять!

Оркестром слаженных движений вскипает жизнь на батарее, номера с привычной быстротой окружают орудия

и зарядные ящики, а через головы их с удалью несется:

— Осемь-ноль, трубка осемь-ноль!

— Осемь-ноль, трубка, осемь-ноль!

— Осемь-ноль, трубка, осемь-ноль!

Когда крайнее шестое орудие принимает восемь-ноль, новая волна догоняет из телефона:

— Правее ноль-ноль пять!

— Правее ноль-ноль пять!

— Правее ноль-ноль пять!

И катится по воздуху, пока от шестого орудия смешливым заливчатым тенором не ударит навстречу:

— Па-а своим опя-ять!

Общий хохот покрывает звонкую шутку, а по дрожащим волнам смеха несется легкое, как ветер:

— О-гонь!

— О-гонь!

— О-гонь!

Шесть ударов стальными прутьями бьют воздух, раскалывая тишину летнего дня.

После тридцати-сорока выстрелов:

— Сто-ой, отбой!

— Сто-ой, отбой!

— Сто-ой, отбой!

И опять заливчатым тенором:

— За-куривай! Ваньку Хренова забрили, вся деревня затужила. Поддерживай, ребята!

Стелется по земле запах серы. Теплый ветер ласкает зреющую рожь.

Телефонисты сообщают, что с правого наблюдательного Глеб ушел в управление дивизиона. Через полчаса со стороны окопов доносятся три тяжелых удара, как чугунным паром по железу.

— Та-а, та-та, та-а, та-та. Правый наблюдательный? Правый!

— Слушает правый.

— Кто стреляет?

— Австрийский бомбомет по пятой роте.

— А его не сбили?

— Дожидайся,— сначала его найди, а потом попробуй.

— Поработали свинье под хвост...

Номера пользуются случаем отдохнуть и заняться своими делами. Жарко светит солнце. Алпатов, лежа на траве, черными негнущимися пальцами пишет адрес на письме. Карабаш в группе номеров третьего орудия читает вслух „Юрия Милославского". Подпрапорщик Плешаков умывается из кружки остатками чая,— босиком, в подтяжках, высокий и лохматый, он с наслаждением размазывает пыль на своем лице.

Харченко совсем уже собрался постирать свои портянки, он и сапоги снял, но посмотрел на небо и раздумал. И словно угадав его заботу, дежурный телефонист зазвенел веселым голосом:

— С наблюдательного велели передать: вылетел немецкий аэроплан. Чтобы замаскировать батарею!

Харченко сердито вскочил с места:

— Так и знал, что будет,— постираться не даст, чертяка!

— Это затем, Петр Иванович,— сказал Алпатов, заклеивая письмо,— что мы стрелять начали. Теперь летит батарею искать.

— Да не каркай ты, а то, пожалуй, накличешь,— проворчал Харченко, тревожно посматривая на небо.

Плешаков остался на батарее за старшого. Он неторопливо вытирается серым полотенцем и вдруг командует густым басом:

— Убирай веша-а! Будет груши-то околачивать, сейчас кум прилетит, да с полбутылкой.

Номера быстро собирают ведра, котелки и медные баки, закрывают орудия ветками и соломой, а на лотки со снарядами бросают траву. Батарея замаскирована.

Шум пропеллера доносится за несколько верст, нарастая в гудящей волне. В прозрачном воздухе появляется аэроплан и быстро несется по прямой линии на нас, как недобрая хищная птица.

— Номерам укрыться, все по землянкам!

Аэроплан пролетает над батареей, вот он уже за нашим резервом. Бухают выстрелы трехдюймовок. Белые дымки кружатся в высоте, расплываясь в молочные пятна, тают на глазах, вновь рождаются и резвятся, как живые мячики.

За Лобачевкой аэроплан сделал широкий поворот и полетел к нам.

Наводчик четвертого орудия первый почуял недоброе:

— Чегой-то он кружится, либо заметил?

— Эх, зенитной батареи нет, так-бы и сшибить его оттуда! — грустно замечает Харченко.

Пролетая над батареей, аэроплан неожиданно выпустил бледно-окрашенную ракету. Алпатов крикнул из своей землянки:

— Держись, братишки, — теперь вдоль спины наложит...

В тот-же момент четыре далеких глухих удара напомнили нам о существовании тяжелых батарей. Послышался нарастающий стальной рев, и четыре гранаты взорвали землю в ста саженях от батареи. В одно мгновение стало понятным, что последует дальше... Голос Ильи Васильевича, который успел вернуться, холодной тревогой ударил в сердце:

— Не выходить из блиндажей, противник бьет по батарее!

Аэроплан выпустил вторую ракету, и земля задрожала от оглушительного взрыва близкого недолета.

Третья очередь ударила в самую точку. Аэроплан закружился над батареей, как жестокая, умная птица, которая получила над нами полную власть. Вот еще: глухие удары издалека, потом настигающий рев все ближе и страшный взрыв сокрушает землю. Блиндажи упирались крепкими спинами, но не выдерживали, — тяжелые бревна теряли свой вес и начинали дрожать, как досчатая перегородка. Наверху бушевало стальной вьюгой. Время остановилось, и гнетущая тоска сжимала сердце.

Чугунные молотки тяжелыми ударами били землю. Одно случайное попадание — и блиндаж взлетит на воздух, как спичечная коробка...

Илья Васильевич успел сообщить по телефону Глебу, что батарея находится под обстрелом тяжелых орудий. Последовало приказание вывести людей из огня.

— Всем по-взводно перебежками, на Лобачевку бегом марш, — скомандовал Илья Васильевич.

Номера быстро выбегали из укрытий, в короткие паузы между очередями разрывов, рассыпаясь в торопливом беге. Догоняли с визгом осколки, впиваясь горячим укусом в землю. Замертво упал, пораженный, как молнией, безответный Еремин, и тяжело ранило в ноги номера первого орудия со странной фамилией Бреус. Он совсем недавно пришел с пополнением и был одним из самых скромных безответных солдат. Оба остались на месте.

У Лобачевки номера остановились в безопасности. Снаряды и осколки сюда не долетали. Можно было пере-

вести дух. Аэроплан продолжал кружиться над батареей. Гранаты рвались, раскидывая землю высокими черными фонтанами. Вот снаряд ударил прямо под орудие, оно закачалось, странно перевернулось в воздухе и медленно перекинулось на несколько аршин, как неуклюжая большая галка. Вот брызнуло мощным фонтаном, и бревна полетели, как щепки в разные стороны, а колесо орудия, словно игрушечное, прыгнуло вверх и легко перекинулось в черную пасть воронки. Зарядный ящик вспыхнул бледными огнями и взметнул высокий столб дыма.

Расстрел продолжался два часа. Аэроплан улетел и выстрелы прекратились. Снова сияло солнце в душистых полях, как будто ничего не было. Наша позиция была уничтожена, а земля исковеркана черной оспой воронок. Непроницаемо-крепкие блиндажи пятого и шестого орудий были раздавлены, как мышиные норы. У всех орудий разбиты колеса, замки и панорамы, а остальные щиты измяты, как бумага. Один зарядный ящик оставил после себя бесформенную массу земли и осколков, а блиндаж первого орудия разбросал свой накат из бревен далеко вокруг. Четвертое орудие опрокинулось на траве без колес и прицела, как сломанный табурет.

Толмачев, личный повар Глеба, не успел или побоялся выйти из землянки вначале обстрела; каким-то чудом он остался невредим в своей полуразрушенной землянке-кухне и к общему удовольствию, испачканный землею с головы до ног, отчаянно матерился, сверкая белыми зубами.

К вечеру Глеб получил приказание очистить позицию и отойти для пополнения в тыл.

* *
*

Батарея остановилась биваком на опушке леса. Три орудия пришли в полную негодность, вместо них выпи-

сали новые, а остальные мы ремонтируем своими средствами.

Мы чувствуем себя в тылу, в безопасности от аэропланов и тяжелых батарей. По лесу раскинулись палатки, на кострах весело бурлит кипяток. Отдыхающие лошади сочно хрустят овсом.

Из офицерской землянки слышен звон чайной посуды, хлопают пробки и доносится вкусный запах жареного шашлыка. Денщики хлопочут у самовара, раздувая его голенищем, и суетятся у буфетной повозки — Глеб ожидает гостей.

Несколько дней назад «Солдатский Вестник» сообщил, что мы переходим на тридцать верст правее на смену Финляндской дивизии. Сегодня утром это подтвердилось в точности от фельдфебеля, который приказал, чтобы все были готовы к ночному переходу. В спокойном небе повисла колбаса недремлющим оком, гудели через лес аэропланы и двигаться вдоль фронта днем было невозможно. Поход был назначен с вечера на всю ночь.

Квартирьеры для приема новой позиции выехали рано утром. Днем приехали передки с новыми орудиями и батарея снова пополнилась до шестиорудийного состава.

Еще засветло кухня раздала ужин и кипяток; начались последние приготовления. Обоз укладывал повозки с продуктами и канцелярией, ездовые просматривали амуницию, быстро снимались палатки. Номера привязывали к передкам и на лафеты мешки, ранцы и „шанцевый инструмент“ — топоры, пилы и лопаты, — орудия теряли свой стройный вид, похожие на низких двугорбых верблюдов. Телефонисты нагрузили доверху свою повозку неуклюжим скарбом котелков, свернутых палаток и сумок. В батарее постепенно сложился неписанный устав, разрешающий солдатам в походе разгружать себя от ранцев

и вещевых мешков, нагружая ими повозки, передки, орудия и зарядные ящики.

Андрей Акимыч неутомимо следит за сбором, наблюдает, указывает, подгоняет и делает замечания, но на погрузку солдатских вещей и он смотрит снисходительно. Перед обедом он выпил с денщиками стакан денатурированного спирта и настроен очень весело:

— Веселей, веселей, ребята — сейчас к теще в гости поедем!

— Андрей Акимыч, а нас обратно на встренут там вот так-же?

— Че-го?? Раньше-то? — Беспечно - хвастливо отвечает он солдатской поговоркой.

— За миром, что-ли, поедем-то, Андрей Акимыч?

— Его и без нас на волах допрут.

Все готово. Пройдя несколько раз по батарее, осмотрев орудия и повозки зоркими глазами, Андрей Акимыч, с почтительным выражением на лице, поддерживая шашку, идет в палатку Глеба с докладом:

— Так что все погрузили, — ваше высокородие.

Через полчаса слышится его сигнальный голос:

— А-му-ни-чи-вай!

И сейчас же подхватывают в лесу разноголосым эхом:

— Аму-ни-чи-вай!

— Аму-ни-чи-вай!

— Аму-ни-чивай!

Начинается веселая суета. Со всех сторон взрывается грубо-ласковый прощальный мат. Лошади амуничиваются с незаметной быстротой и верными рядами стоят у орудий, в зарядных ящиках и в повозках. Батарея готова выступать.

С бугра видно, как по дороге в лощину медленно сползает четвертая батарея, растягиваясь живой лентой

по изгибам неровного пути, а вороные лошади осторожно переходят через ручей.

Канатоп, пересыпая речь словечками, хочет посмеяться над Фетисовым:

— Ты, валетина, пехотная душа, трах-тара-рах, скажи, почему в шестой батарее, трах, все лошади вороные, тара-рах?

— Где-ж вороные — вон и белые мелькают, вон и гнедая под кухней.

— Мало что, — это в войну побило, а должны быть все вороные.

— А шут их знает.

— Если скажешь, пехотная душа, тогда... оба рукава тебе от жилетки пожертвую и получишь ты чин туза червей. Ну, шевели мозгами!

Валет думает, как-бы выйти из затруднительного положения, но ничего не может придумать. Тогда насмешливый Белоусов, давнишний артиллерист, выручает его:

— Потому что в каждой бригаде первая батарея — вороные лошади, вторая — гнедые, третья — рыжие; и во втором дивизионе также — четвертая — вороные, пятая — гнедые, шестая — рыжие. И по масти ты должен узнавать, пехотный котелок!

В лесу раздается команда:

— Разведчики к командиру!

Десять конных разведчиков с навьюченными седлами широкой рысью проходят между деревьев к тому месту, где стояла палатка Глеба.

— Деревянная кавалерия, — кричит Канатоп, — в атаку что-ли пошли?

Глеб и Сорокин, в сопровождении разведчиков, шагом выезжают из кустов. Глеб останавливается около пер-

вого орудия и с удовольствием смотрит на шестерку лошадей. После сытного завтрака ему хочется шутить:

— Москалев, а ты все толстеешь,— говорит он старшему телефонисту.

— Так точно, ваше высокородие.

— А говорят,— война! Да нам воевать-то на пользу: небось дома на пустых щах далеко не уедешь.

— Никак нет, ваше высокородие, домой-бы пора,— уж повоевали.

— Э-э, болтай сорока Якова, а смотри, рожи-то у всех.

Глеб бросает команду:

— По коням, ездовые са-дись. Шагом ма-арш!

Глеб с разведчиками выезжает вперед, за ним двигаются телефонисты со своими двуколками и вытягивается в походную колонну боевая часть — пушки и зарядные ящики в шестиконных запряжках, а дальше идут обозные повозки, кухня, канцелярия, возы сена и стадо коров. Батарея растягивается далеко вперед, и, когда первые орудия проходят деревья в поле, окутанное вечерним туманом, последние только выезжают из леса.

Номера и телефонисты начинают песню, которую можно петь при офицерах:

Близ Вислы — австрийской границы—
В ущельях Карпатской горы,
Там льются кровавы потоки
С утра до вечерней зари.

Незаметно спускалась ночь бесшумным покрывалом. Батарея вышла на ровную дорогу и пошла широким шагом.

Слышен храп лошадей в темноте и мерное погромыхивание колес на редких ухабах. Колонна двигается ровным потоком, прорезая густой чернильный мрак. Временами перекатывается по цепи:

— Под ноги — я-ма!

— Под ноги — я-ма!

И заглухает далеко в конце:

— Под ноги: — я-ма!

Вновь покатилось спереди, подхватываясь разными голосами:

— Повод вправо.

— Повод вправо.

Ездовые мерно покачиваются в седлах, как темные живые гравюры. Номера шагают группами вдоль дороги, свертывая на ходу цыгарки и мелькая точками огней.

По «беспроволочному телеграфу» сообщается на ходу, что позиция наша будет не там, где думали, а на десять верст правее, у большого леса; что все части Финляндской дивизии пойдут на отдых.

Денщик прапорщика Вязьмитинова обогнал колонну из обоза и присоединился к номерам пятого орудия, чтобы закурить. Он мрачно возмущается.

— Что-бы нам-то на отдых! Ей-богу! Хоть-бы один раз за всю войну. Людей и сменяют посмотришь, а тут...

— Людям везет, братишка, вот и отдых.

Харченко подъезжает к номерам и, наклоняясь с седла за табаком, говорит:

— Если-бы в лесу позиция была, вот-бы хорошо: там хоть от этих домовых-то отдохнули, а то ни встать, ни сесть — кругом шестнадцать.

Недовольный голос из темноты:

— Подкуют и там!

— Он везде найдет.

— Орудия-то, как щепка летела... А там думаешь, что?

— Да в лесу-то все лучшей.

— Э-э, хуть в лесу, хуть в поле, — все одно: так и так пропадать...

— Скоро зима, а как белые мухи полетят, так скажи опять на цельный год до победного конца закручивай.

— Гаврила крутит!

— Ездовые, чего носы-то повесили? Дай-ка прикурить, Ваня, да слезай, пройдись на одиннадцатом номере, а я сяду.

По колонне весело несется:

— Стой!

— Стой!

— Ездовые, слезай.

Привал на пять минут. Придорожная трава дрожит в холодной росе. Надо развязать из передка шинель в длинный ночной путь.

Через поля, по лесным дорогам, мимо сожженных черных деревень двигается батарея вдоль фронта. Разноцветными огнями вспыхивают на линии окопов сторожевые ракеты. Немецкие поднимаются высоко в небо и медленно затухают, сгорая пышными цветами огня. Бледно и грустно сгорают ответные ракеты нашей пехоты. Прожектор разрезает ночную тьму электрическим глазом и медленно щупает пространство снопами белых лучей. Слышатся одинокие выстрелы и железное стрекотанье пулемета.

На последних часах крепким холодом закалялась ночь и не грела влажная шинель. Приближался рассвет, а нужно было к утру стать на место.

— Шире ша-аг,— катится по колонне.

— Шире ша-аг!

— Шире-шаг!

Обоз первого разряда с 12-ю зарядными ящиками — то, что называется резервом, — стал на свое место, на берегу заросшей камышами реки, под тенью пышных деревьев. Боевая часть — шесть орудий и шесть заряд-

ных ящиков с телефонными двуколками — продолжает путь.

— Шире ша-аг. Ящики, подтянись.

— Пешие на передки и ящики садись, рысью марш!

Пыль холодной тушью покрывает лица, бледные от бессонной ночи. Лошади чуют отдых. Вон сторожка на краю леса, а там на бугре место нашей позиции — здесь мы сменим финляндскую батарею.

— Сто-ой: ездовые, слезай. Орудийные фейерверкеры к командиру!

Сейчас будем ставить орудия. В замусоленных записных книжках фейерверкеры отмечают цели с цифрами угломера, уровня и прицела:

— Принимают позицию.

Телефонисты разгрузили тяжелую двуколку и приготовили катушки проводов.

— Ну, закуривай по последней: к теще в гости приехали.

Перекликаясь усталыми злыми голосами, ежеминутно вспоминая мать, телефонисты рассыпаются по бугру.

Батарея занимала новую позицию.

---

8. В лесу.

Нужно во что-бы то ни стало скрыть батарею от недобрых глаз аэропланов и колбасы, поглубже уйти в землю, окраситься цветом травы и кустов, но только не обнаружить себя. Иначе последует жестокая расправа, как под Лобачевкой. Применяясь к местности, мы маскируем батарею снопами скошенной ржи — каждое орудие покрывается копной в правильных крестцах.

Но позицию могут открыть по огню выстрелов, а потому:

— Ни в коем случае не стрелять на виду колбасы и аэропланов!

— Немедленно после выстрелов возобновлять маскировку.

— Все вещи держать в блиндажах.

На второй-же день приезда колбаса поднялась за лесом и повисла в голубом небе, слабо качаясь на воздушной волне. Аэропланы закружились с утра по фронту и тылу; за полверсты от нас был расстрелян и опрокинут взвод четвертой батареи, сделавший несколько выстрелов и незаметивший, что за ним наблюдает глаз высоко летевшего аэроплана. Удары тяжелых гранат долго молотили по несчастному взводу.

Открывать огонь мы могли только ночью или в ненастные дни, когда не было самолетов и всевидящей

колбасы. В остальное время мы были прикованы к земле, бессильные помочь своей пехоте. Противник посылал нам снаряды в любом количестве в любое время дня, а мы не могли отвечать на выстрелы, связанные угрозой воздушного наблюдения. Дальнобойные орудия свободно обстреливали наш тыл в глубину до обозов первого разряда. Вся полоса фронта на 10—12 верст от окопов находилась в полном распоряжении немецкой артиллерии, видела этот тыл, как на ладони.

В нашей дивизии было шесть легких батарей, один мортирный дивизион и одна 42-х линейная полубатарея. Не было ни одной тяжелой пушки и ни одной гаубицы. Против этих скромных сил действовала мощная артиллерия противника. Каждый участок нашего фронта находился под обстрелом дальнобойных тяжелых батарей. На каждое из наших легких орудий по ту сторону окопов стояла гаубица или тяжелая пушка, а легкая и мортирная артиллерия имела против нас перевес в два-три раза. Неравенство усиливалось по количеству снарядов, когда на один выстрел отвечали десятки орудий.

Что могла сделать наша трехдюймовая артиллерия против тяжелых батарей? Петух против коршуна. Наши наблюдательные пункты открывали горизонт только для близких видимых целей в пехоте, а тыл противника был непроницаемо-закрыт. Но если-бы даже мы получили неожиданный перевес в воздухе, если-бы наши летчики точно выяснили позиции немецких батарей, мы остались бы такими-же бессильными по другой причине: мало видеть цель,—надо ее достать. Предельный выстрел трехдюймовки и мортиры хватал только на семь верст, а за этой дистанцией противник чувствовал себя в полной безопасности. С одной высоты, где расположился главный наблюдательный пункт, нам был отчетливо виден в ясную

погоду взвод немецких гаубиц, который стоял на ровном и открытом месте; взвод спокойно, как на полигоне, обстреливал наш тыл, прекрасно зная, что русская трехдюймовка не сможет добросить до него ни одного снаряда.

Противник владел воздухом и землей. Нам оставалась роль зрителей.

Пехотный солдат в окопах видел, что его артиллерия была бессильна ему помочь. Что может сделать против коршуна несчастный заяц, спрятавший в траве свои уши? Обнаженная пехота в неравной борьбе под выстрелами шестидюймовых гранат могла рассчитывать только на себя. А противник свободно наблюдал за окопами и резервом, видел все лощины и перелески, как муравьиную кучу, и ежедневно ковырял ее железной лопатой.

Наши аэропланы совершенно исчезли, сдав без боя воздух. И когда телефонисты сказали, что завтра утром полетит русский аэроплан, это было целым событием. Мы уже начинали думать, что у нас летчиков нет и летать они не умеют. Певучий храп пропеллера доносился издалека приятной музыкой. Но не успел аэроплан долететь до линии окопов, как его окружили разрывы настоящих зенитных батарей. Значит, несмотря ни на что, противник готов ко всем видам борьбы. Белые дымки густо покрывали небо. Аэроплан круто повернул и быстрым рейсом пошел назад.

— Полетал и довольно.

— Хорошенького понемножку.

— Этот сыт.

— В тыл на разведку ударился.

— Понес за миром в Сибирь.

— За теми волами, такого в глаза

— Сила солому ломит.

— Кончать войну к чертям!

Через несколько минут высоко в воздухе гудел стальными частями немецкий истребитель и быстро пролетел в тыл за нашим аэропланом. А за ним показалось еще три — они плыли, как свободные смелые птицы, не обращая внимания на разрывы шрапнели. Стало понятным, почему наш летчик так быстро повернул назад: он не мог вступить в неравный бой и должен был спасаться бегством. Да и что мог сделать он на своем слабом аппарате один против четырех?

Армия плохо вооруженная, без тяжелой артиллерии, с ничтожным запасом снарядов, без автомобилей и самолетов, стояла перед лицом противника, вооруженного в совершенстве. Каждый солдат чувствовал это превосходство. Там все было лучше, чем здесь: и колючая проволока, и ручные гранаты, и винтовки, и маски, и бинокли, и зрительные трубы, и амуниция на лошадях, и удобные солдатские сумки, и седла, и уздечки, и подошвы ботинок. Перевес всех видов огня был на их стороне, а у нас оставалось чувство глухого бессилия, горькой обиды и полного разочарования.

Надежды на успех быть не могло, и солдат потерял веру. Создавалась твердая уверенность, что победить нельзя, для этого нет средств и нехватает сил. И война продолжалась в потоках нарастающего гнева.

* * *

По скошенным полям шла невеселая осень. Надо было подумать о перемене маскировки, тем более, что командир полка стал требовать открытия огня днем. Глеб отказывал и начинались разговоры:

— На кой-же чорт вы здесь стоите!

Чтобы выйти из паралича, было решено передвинуться на другое место и поставить батарею в лесу ближе к пехотным окопам. Здесь высокие деревья закрывали нас сверху и можно было стрелять через лес, не особенно стесняясь аэропланов.

Для отвода глаз мы оставили на старой позиции деревянные орудия и зарядные ящики, которые противник должен был принять за батарею. Декорация имела полное сходство, словно это были настоящие пушки, но они спокойно простояли до зимы и ни один выстрел не потревожил мертвую позицию. С той стороны наблюдали зоркие глаза...

Противник знал, что наша артиллерия расположилась в лесу и каждый день клевал его тяжелыми снарядами. Лес был усеян большими воронками.

Позицию пришлось оборудовать заново, но делать блиндажи с накатами деревьев номерам не хотелось:

— Может, перегонят через неделю в другое место, а мы будем для людей спину гнуть.

Каждое орудие сделало глубокий ровик для укрытия от артиллерийского огня, а для ночлега и от дождя вырыли легкие землянки. Зима была еще далеко, стояли теплые дни, но к вечеру воздух застывал на всю холодную ночь.

Не снимая сапог, мы тесно ложимся в землянках, прижимаясь друг к другу. Под шинелью яростно наступают «внутренние» враги.

Батарею сторожат дневальные. Им холодно и скучно и нельзя развести огня, чтобы не обнаружить позицию. Вспыхивают над окопами ракеты, стучат одинокие выстрелы. Холодная тоска сжимает сердце.

Рассвет ожидается, как весна. Серым цветом растворяется ночной мрак. Скоро взойдет солнце. Дневальные

спешат развести долго-жданный костер. Огонь весело охватывает сучья, осыпаясь горячей золой.

Из землянок выбегают по одиночке в измятых шинелях и рысью к костру.

— Рано поднялись, господа солдаты!

— Еще кофий не готов, а они к огню.

— Ну, и холодно...

— В землянке, как в могиле: ни черта не греет.

— Нужно блиндажи зимние делать, вот что.

— Поди сделай.—враз на другую позицию и перегонят.

— На людей не наработаешься.

— До зимы-то далеко, глядь, и на отдых подадимся.

— К свиньям пропадешь в этих землянках. Ворочаешься-ворочаешься, а ноги застывают. Разве так уснешь?

— Дневалить и то веселей.

— Алпатов здоров спать, что твой мерин. Ему тепло.

— Нет, ребята,—говорит Харченко, зябко пожимаясь у костра,—нужно землянки настоящие делать. Время.

Огонь притягивает всех магнитом. Солдаты греют застывшие ноги. Костер разгорается. Из землянки пятого орудия выбегают двое и несутся к веселому дню.

— Что танцуете-то, ребята, ай на свадьбе?

— Скоро запляшут.

— Должно-быть цикорием поддает, а?

Незаметно наполнялся лес теплотой солнечного дня. Веселый костер горит до вечера.

* * *

В эту ночь стояла полная тишина. Только ракеты взрывались над окопами с шипением, как огненные змеи.

И вдруг блеснула молния совсем близко. Очередь тяжелой батареи разорвалась над лесом и глухим вихрем забурлила ночь. От второго удара задрожала земля, и погас фонарь в нашей точке отметки. Вспыхнули огни новых ракет, затрещали нарастающим хором винтовки и торопливо, захлебываясь железным стуком, залаяли разноголосые пулеметы. Бурной волной ударила ночная тревога.

По всей линии загудели телефонные аппараты точками-тире:

— Та-та-та-а, та-та-та-а! Наблюдательный, правый наблюдательный, слушаешь?

— Командира роты к телефону.

— Штаб полка...

— Управление дивизиона вызывает батарею...

— Наблюдательный, где вы там?

— Слушает наблюдательный.

— Узнай, кто стреляет. Что там такое? Правый наблюдательный?

— Чорт его поймет. Никак толку не добьешься!

— Бат-тарея слушает. Противник наступает на нашем участке. Скажи, что командир батальона просит сейчас-же открыть заградительный огонь!

Глеб выскочил из землянки при первых выстрелах и с прапорщиком Вязьмитиновым ушел на наблюдательный пункт. Илья Васильевич в походной амуниции, с шашкой и биноклем, сдерживая волнение, неожиданно появился у орудий.

— Бат-тарея к бою,—весело скомандовал он.—Номера к орудиям. Наводчики, держи точку отметки.

Он прошел широкими шагами вдоль орудий, с напускным весельем обращаясь к номерам:

— Что, ребята, погреемся! Вот и теплей будет.

— Не к добру это ночью бой зачался, хуже нет, — сказал Висков с нотками скрытой тревоги.

— А ты думаешь, как-же? На войне каждую ночь жди гостей, а дождался—бутылки откупоривай.

Лес дрожал от разрывов, наполняясь крепким запахом пороха. Бой разгорался буйным пожаром. Выстрелы орудий отдавались тяжелыми ударами и гулко разносились, как чугунные шары по железу.

Глеб с наблюдательного пункта приказал немедленно открыть огонь по цели номер два.

Илья Васильевич прозвенел стальным голосом:

— Батарея к бою. Семь-пять, трубка семь-пять. Два па-трона.

— Беглый огонь.

Шесть оглушительных ударов мощной волной ударили в музыку огня, осветив на мгновенье лес желтым пламенем, и покатились в ночь, как уходящий поезд. Пустые гильзы полетели в траву.

И снова:

— Два патрона.

Пауза.

— Беглый огонь.

В начале еще можно было узнать привычным ухом, что открыла огонь четвертая батарея, а к ней присоединилась пятая; как ударила глухим выстрелом и покатилась медным раскатом мортира, а далеко вправо бухнула наша тяжелая батарея; как совсем близко на лесной дороге, где стояли наши передки, разорвалась в подземном ударе очередь тяжелых гранат. Потом выстрелы наших орудий бичующими ударами заколотили по ушам, и все смешалось в вихре огня.

Илья Васильевич продолжал охрипшим голосом:

— Два патрона!

— Беглый огонь!

— Два патрона! Беглый огонь!

Нельзя было понять и никто не знал, как вспыхнул этот бой, пошел-ли противник в наступление, и где он наступает. Но пулеметы заливались впереди с таким отчаянием, что, казалось, с минуты на минуту где-то близко начнется штыковая атака.

Телефонисты передали с наблюдательного пункта:

— Противник стреляет химическими снарядами. Батарее подготовиться.

Не прерывая огня, Илья Васильевич распорядился:

— Пятое и шестое орудие—отбой, приготовить маски. Амуничивай передки. Первый и второй взвод—огонь.

Бой продолжался всю ночь с наростающей тревогой и незаметно утих к рассвету. Казалось, что вспышки огня, раскаты выстрелов и сметающие взрывы не были в управлении человека, что налетевшая вьюга кружилась над лесом и бушевала в пламенном вихре. Сначала успокоились пулеметы, потом стали слабеть выстрелы орудий, словно стихающий оркестр, и наблюдательный пункт сообщил радостную команду:

— Стой—отбой. Оправиться!

Стрельба затихала уходящей волной. Лениво бухает справа, ударит усталая очередь впереди. Пауза. Одинокий выстрел и снова тишина.

Глеб по телефону приказал денщикам ставить самовар. Бой кончился. Спать не хотелось.

— И, телефонисты, да что там вышло-то? Узнали-бы в пехоте.

— Ничего не поймешь: из батальона передают в штаб полка, что отбили наступление—вот и вся.

— Да где наступление-то было и по какому случаю?

— А домовой их знает.

На батарее потерь никаких не было, несмотря на то, что деревья вокруг были исцарапаны шрапнелью и осколками. Наблюдательные пункты были разворочены гранатами и засыпаны землей, но никто не пострадал.

Номера с облегчением отдыхали у костра:

— Ну и жара: так и думал: всех разнесет в доску.

— Ночью трудно: главная вещь, ему с аэроплана нельзя наблюдать, а то-бы...

— Это скажи спасибо,—лес. А то с колбасы и ночью увидит, а тогда и получай, как под Лобачевкой...

— А как из грязных крыл! Снарядов не жалеет, как гнилую картошку—и откуда что берется?

— Это он дураков учит: смотри, сколько у меня всего! Будешь дальше воевать, до смерти забью всех в доску. У него, брат, есть из чего, а ты постой здесь со своей хлопушкой.

— Силен!

Вспомнился волнующий напев любимой солдатской песни:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
Беспрерывно гром гремел
И вихри в дебрях бушевали.

Светило солнце. Усталый лес отдыхал.

---

9. Без перемен.

Надвинулась осень. Полил мелкий дождь.

Батарея оставалась на той-же позиции, растянувшись на много верст. Четыре орудия стояли в лесу на прежнем месте, два орудия выдвинулись вперед ко второй линиии окопов—это был «кинжальный взвод» на случай внезапной атаки. Передки расположились на опушке леса за полверсты от батареи, а в трех верстах позади в дубовой роще дымил кухней наш резерв, разместив под деревьями повозки, зарядные ящики, фураж и лошадей. Обоз второго разряда стоял в деревне за пятнадцать верст.

Из орудийных номеров я переведен в телефонисты. Эта многочисленная веселая команда разместилась в резерве, откуда каждый день выделяются дежурные телефонисты на три наблюдательных пункта, на батарею и в передки.

Старший телефонист Москалев давно окончил учебную команду, давно прошел специальные курсы и дело телефонной связи изучил в совершенстве. Он сам исправляет аппараты, проводит линию телефона и отвечает за все. Глеб постоянно дает ему самые разнообразные задания:

— Москалев, соединись с шестой батареей

— Москалев, наблюдательный пункт к утру связать с батальонами. Понял?

— Так точно, ваше высокородие, слушаю.

Москалев выбирает свободных телефонистов, приготовляет, как рыбачью снасть, катушки с кабелем, по карте и на глаз прикидывает расстояние, запасает колья, и всей компанией, с неразлучными противогазами, с тяжелыми катушками, топорами и ящиками телефонов, выходят из землянки на тяжелую работу. С тоном легкой усмешки Москалев начинает:

По привычке кони знают,
Где сударушка живет...

И подхваченная веселыми голосами раздается уходящая:

Снег копытами взрывают,
Ямщик песенки поет.

Им предстоит всю ночь ползать под мелким дождем, устанавливать скользкие колья, блуждать в лесу, спотыкаясь о пни и проваливаться в мокрые грязные воронки. На рассвете вся компания вернется в резерв, в желанный уют своей землянки, промокшие до нитки, зашпаклеванные грязью и глиной. Располагаясь на нарах спать, Москалев будет весело материться, посылая в преисподнюю войну, Глеба, батарею и осенний дождь.

Телефонный провод прочно соединял батарею живой связью от наблюдательных пунктов до обоза. Круглые сутки лежат телефонисты у аппаратов—в передках, в резерве, на позиции и наблюдательных пунктах—и условными гудками перекликаются между собою. С утра гудят в резерв точками-тире:

— Та-та, та-та.

— Резерв слушает.

— Поверочка дорогой, Ваня, как там кипяток?

— Затопили куб,—теперь скоро.

— Как поедут, скажи.

В семь утра куб готов и кипяток раздается в резерве.

— Та-та-та, та-та. Батарея. Мухортов, скажи ребятам—кипятильник сейчас приедет.

Через передки на позицию приезжает куб. Дежурные с наблюдательных пунктов ждут с котелками. Появление кипятильников вносит радостное оживление в отраву скучных часов.

И потом весь день:

— Лезерв слушает? Та-та, та-та. Что там кухня-то, провалилась, что-ли?

— Скажи там, Костя — время обед раздавать, животы подвело...

— Ваня, сколько время-то, посмотри?

— Скоро, что-ль, на наблюдательный пойдет? Собираются? Ну, ладно, а то все ноги застыли.

— Мортирная-то скоро пойдет. Гони ее, Костя, скорее—номера жрать хотят.

А приглушенный злой голос бросит по линии:

— Да узнай там, в резерве-то, война когда кончится? Скажи—домой хочу-у... А ждать, скажи, надоело.

* * *

С приближением зимы угасала надежда на магически-прекрасный, выстраданный, желанный и невероятный

— Мир...

Каждый солдат чувствовал, что вместо мира его готовят к новым боям, чтобы продолжать войну до невозможного и ненавистного

— До победного конца!

Начиналось затишье. Противники остановились на выбранных позициях, укрепляясь по бесконечной линии

окопов. За наружным бездействием фронт кипел в напряженной скрытой работе. Пехота по сменам трудилась в передовой линии—рыли глубокие, непроницаемые для артиллерии, подземные убежища «лисьи норы», намечались пулеметные гнезда, узкие окопы заменялись просторными, выравнивался бруствер, проводились новые хода сообщения, а колючая проволока каждую ночь разматывала на кольях свою железную паутину. Нужно было делать бойницы, козырьки от шрапнели, теплые землянки, блиндажи, окопы для дозоров и секретов.

Было приказано приготовить в тылу, параллельно первой линии, второй и третий ряд окопов с готовыми землянками, проволочными заграждениями и пулеметными гнездами; предлагалось заранее выбрать на этих запасных позициях наблюдательные пункты, чтобы, в случае отступления, действовать по плану.

Все земляные работы по оборудованию и переустройству окопов выполнялись несчастной пехотой по ночам с напряжением последних сил. Артиллерия должна была помогать подвозкой на место срубленных деревьев для блиндажей и лисьих нор. Неохотно шли на эту работу наши ездовые из резерва,—они назначались по очереди через каждую ночь, отчаянно возмущались и матерились, всеми способами стараясь ускользнуть от назначения.

Деревья волоком тащили на лошадях в передовые окопы. Работа была тяжелой и опасной, так как производилась в полосе ружейного и минометного огня. Лошади дрожали от неожиданных выстрелов и близкого полета пуль. Ездовые возвращались в резерв мрачной озлобленной группой, а конные разведчики, свободные на верховых лошадях от этих нарядов, встречали их у водопоя:

— Что носы-то повесили, мышиная кавалерия?

— Тут повесишь, как всю ночь поворочаешь у тех окопов.

— Какого дьявола нас возить заставляют: права такого нет, чтобы артиллерия бревна таскала в пехоту.

— Пусть сами ворочают.

— Эй, старший, пошел к командиру—скажи: ездовые не желают и вся!

— Ишь ты, какой супчик явился! Пойди сам, да получи по морде, а потом под ранец становись. Дураков нашел—за него докладывать!

— Да ты видишь—все лошади обезножили? Кто мог приказать...

— У нас с тобой не спросили. Ста-но-ви лошадей...

В одну неудачную поездку ездовые сваливали деревья в окопах, торопясь поскорее выехать из неприятного места. Неожиданно взвилась и упала в нескольких саженях озаряющая светло-синяя ракета. Противник заметил лошадей. Несколько пулеметов дружно застучали из невидимых гнезд и разорвались в упор винтовки. Ездовые рассыпались в темноте на испуганных лошадях.

Утром Андрей Акимович докладывал Глебу:

— Павлова и Шугорева убило наповал. Так что запутались в постромках и остались на месте, а лошадей трех прикажете пристрелить? К лечению они непригодны, как перебило у них пулеметом самые ноги?

От неприятных работ в передовой линии освобождались только такие специалисты, как писаря, сапожники, портные, кашевары, телефонисты, разведчики и денщики. Номера, к их величайшему негодованию, назначались по очереди в рабочие команды. Каждую почти ночь партия в семь-восемь человек с лопатами, топорами и кирко-мотыгами отправлялась на наблюдательные пункты готовить новые или углублять и переделывать старые.

В сумерках ненастного дня, под хмурым дождем, неохотно собираются в дорогу. Харченко достает из голе-

ница свою универсальную записную книжку, где у него ведется сложный учет отпусков, очередей, номера целей и прочее. Сделав какие-то значки на замусоленной странице, он говорит:

— Петров, ты за старшего—вали на правый наблюдательный.

— Что ты наладил меня все за старшего, да за старшего? Не желаю, ставь вот Вахненку,—ожесточенно бросая лопатку, кричит Петров.

— Не гавкай здря, не гавкай,—успокаивает Харченко—пошел за старшего.

— Да мне нонче, если хочешь знать, и в наряд итти не очередь.

— Как не очередь?

— Так! Я сегодня ночь дежурил и сапоги у меня развалились. Смотри!

Начинается буйный спор, во время которого вспоминаются родители всех присутствующих. Но записная книжка одерживает верх и Петров с номерами, послав прощальный привет Харченко, отправляется в путь, шлепая тяжелыми сапогами в жидком киселе.

Дождь льет через мелкое сито, нагоняя тоску.

— Вот чертову работу придумали: походи ночью-то!

— Хороший хозяин свинью во двор не выгонит.

— Навалились на номеров... Вот несчастная доля: из наряда в наряд и отдыха нет.

— Телефонистам на пункте сидеть — они пущай и роют.

— Придумал здорово! А линию кто исправлять будет? Они и так через ночь дежурят на своем деле.

— Ну, ездовых!

— А они по всем ночам бревна подвозят.

— Им вон плащи брезентовые дают, а нам почему не выдали? Измокнешь весь, как тот кобель!

— Дожидайся.

— Тогда пусть Глеб сам роет: он выбирает пункты, он и рыть их должен.

— А ты не желаешь!

— Нет.

— Ну, за тебя Пушкин пойдет и за нас за всех.

— Довольно брехать-то.

Рабочая команда спускается в последнюю лощину. На бугре впереди стоят смутной тенью деревья, за которыми начинается открытое поле. Позиция здесь совсем близко и неровные морщины ходов сообщения идут до самых окопов. Но шапкой-невидимкой закрывает ночь и дорога пойдет прямо по-верху, а направление — по телефонной линии.

— Бросай курить-то, э-э,—кричит Петров.

Ракеты шипят, как обрызганные водой угли, и чертят огненные линии в крутом полете. Сухо бьет, раскатываясь в тумане, винтовка. Пролетает низко, с жалобным гудом, как заблудившийся шмель, случайная пуля. Глухим ударом бухнул далеко слева, как толкачом по болоту, выстрел пушки, а впереди, мигая через мокрый туман, пополз тревожный прожектор.

Петров неожиданно споткнулся на какие-то колья и покатился в яму воронки.

— Стой, черти, да где вы есть-то?

— Лезь сюда, держись вот за лопату.

— Вот тьма-то — хоть глаз коли, не вижу.

— Что Мишка, искупался?

— Давай лопату. Тут воды по колено, всего засосало.

— Окунайся глубже!

— Что они тут кольев набросали на самом ходу? Чтоб им...

Отвести усталую душу:

— Трах-тара-рах, в дождь, в войну, в дурака!

Медленно пошли дальше, перелезая через скользкие канавы окопов, натыкаясь на проволоку и незаметные в темноте воронки.

— Петров, а ты дорогу-то знаешь?

— До-рогу? Да какая тут к свиньям дорога, ночью-то!

— А то заведешь в собачий ящик...

— Тут дорога одна: прямо по проводу в наблюдательный.

— Стой, вот землянка чья-то. Видишь огонек?

— Кто здесь, земляки?

— Четвертой батареи наблюдательный, а вы куда?— Спрашивает голос из темноты.

— Да это куда-ж мы зашли? На цельных две версты крюку...

— Куда-ж ты завел-то, дьявол?

— А чорт тут поймет — смотри, проводов-то сколько напутано...

Номера уныло побрели по окутанным ночью полям, разыскивая свой наблюдательный пункт. Из под земли, в запасной линии окопов, засветился, наконец, бледный огонек.

— Третья батарея здесь, что ли?

— Петров, да где вы пропали-то?

— А мы вас ищем.

Наблюдательный пункт помещался в низкой землянке; здесь, на мокрой соломе, под легкой крышей с тонким слоем земли, располагались два дежурных телефониста. Номера должны вырыть яму для настоящего основательного блиндажа.

— Ну, здорово работнички,— приветствуют телефонисты.

— Здорово, молодцы непромокаемые, чтоб вас с вашим наблюдательным да на том свете козла в это место!

— Не шуми, старшой, а дай-ка закурить лучше, да садитесь, на чем стоите.

Номера скатываются по липким стенам окопа вниз и осторожно раскуривают цыгарки в неповоротной тесноте. Предстоит тяжелая работа. Мимо землянки проходит командир пятой роты. Липкая грязь покрывает его толстым слоем, как штукатурка. Он советует работать поскорей и осторожней, чтобы не заметил противник:

— Вам-то что, артиллеристам? Ушли на другое место и ладно, а начнут минометом жарить, нам отдуваться.

Номера докуривают цыгарки и начинают работать лопатами, бросая комья тяжелой земли. Близко пролетают пули. Внезапно застучал пулемет, рассеивая частый железный дождь. У Петрова пробило шинель и царапнуло голенище; номера посыпались на безопасное дно окопа. Пулемет замолчал, но тревога сжимает сердце. До боли не хочется вылезать наверх, в риск случайностей, где в одну секунду можно потерять жизнь. Коротко, с неуловимой быстротой, визгнуло наверху и захлопнулось в землю. Темная фигура вздрогнула, и крепче прижался кто-то к стене окопа.

— Ты что, братишка,— это не наша.

— А ты у ней спрашивал? Укусит и отпахался...

— Нужен-то ты больно.

— Мне жизнь дорога. Шкуру-то свою жалко.

— Чу-дачок, а им больно нужно, что твою шкуру пробьют? Ну, и пропадешь — ведь ты нижний чин вроде нижнего пильщика. И цена нам с тобою по семь копеек...

— Ну, пошел, пошел, ребята,— торопит Петров.— Лезь наверх. Пошабашим, тогда хозяин по стаканчику поднесет. По-шел!

Номера спешат углубить яму блиндажа, чтобы закрыть себя от пуль. Подгоняет и холодная сырость ночи. Работа

быстро двигается. Заранее приготовленные бревна укладываются сверху несколькими слоями. Вырастает непроницаемый крепкий блиндаж. Наконец, брошены последние лопаты земли, и Петров устало говорит:

— Закуривай, ребята, скорей, и айда домой.

Назад итти веселее. Теперь не придется блуждать без дороги. Направление показывает точно край леса, высокой тенью чернеющий впереди. Скорей перейти вот этот бугор, а там уж совсем близко и перестанут гудеть назойливые опасные пули.

Навстречу, тяжело шлепая по всасывающей грязи, двигается живая темно-серая масса. Номера останавливаются, пропуская мимо себя мрачную толпу в расстроенных рядах. Штыки на винтовках торчат высокими черными иглами.

— Какого полка-то, земляки?

Неохотно отвечают из толпы:

— Смоленского—пятая рота пошла на смену.

Растянулись в длинную, неровную колонну. На спинах лепятся отвислые вещевые мешки. Позади идут санитары с длинными шестами для носилок и фельдшер с тяжелой медицинской сумкой. Холодом безнадежной тоски веяло от проходивших рядов.

Отставший солдат, догоняя роту, споткнулся на телефонный провод, и с мрачной злобой ударил прикладом, обрывая линию.

— Что ты провода-то рвешь, землячок? Они не виноваты,— с ласковой усмешкой говорит Петров.

Невидящими глазами посмотрел солдат в нашу сторону и побежал догонять уходящую роту. Из темноты донеслось проклятье:

— В православную веру, в царя, в победу!..

Рота пошла на смену. Усталые, пронизанные холодным туманом, они войдут в передовые окопы и целую

неделю будут жить в грязной канаве, без костра и горячей пищи, получая раз в сутки холодный обед. По ночам до крови расчесываться от непобедимых вшей, откармливая их на своем теле. И всю неделю сторожить у бойниц, у пулеметов, сменяться в дозорах и секретах, ползать в разведку под нависшими ударами ручных гранат и минометов. А если повернется злая судьба, итти в наступление прямо на огонь притаившихся пулеметов. Тогда от роты уцелеют десятки. Но если и не будет наступления, все равно среди них уже есть обреченные. Кто-то из этих неизвестных солдат не пойдет обратно и не вернется его неповторяемая жизнь.

— И за что пропадает несчастная пехота? Легче смерть — сразу отпахался и не страдать.

— Да разве это жизнь? Это жестянка!

---

10. Осенние дни.

Батарея стояла неподвижно на старых местах. Мешая дожди с морозом, осень шла неровными шагами. Нужно было готовиться к зиме.

Холод закручивал сильнее. Ночевать налегке в палатках, под повозками, или в летних, сделанных на скорую руку, землянках, было невозможно. На позиции, в передках и в резерве постепенно начали появляться теплые землянки с нарами, тесовыми дверками и узкими просветами для тусклых окон.

В резерве вырастала крытая, плетеная из веток, конюшня. Землянки с плоскими крышами вытягивались в длинный ряд, группируя солдат по командам: справа, на самом краю — конные разведчики, потом ездовые, каптенармусы, фельдфебель у денежного ящика, канцелярия, телефонисты, портные с сапожниками, кухня и вся «семнадцатая рота». В землянках клались первобытные печи с такими же трубами, появлялись коптилки и даже керосиновые лампы, которые неизвестными путями доставались откуда-то из пространства...

У телефонистов самая большая землянка на двадцать человек; неровные земляные ступени спускаются в низкую дверь. У стены против входа сложена печь и вколочен в землю столик. По обоим сторонам от двери расположены земляные нары, накрытые соломой. В таких

первобытных жилищах спасались от холода дикие племена на заре своего существования.

Трещат на огне сучья и сухие листья. Телефонисты ложатся спать на нарах вплотную по десять-двенадцать человек. У печи сушатся мокрые портянки. Душно. Всю ночь тускло мигает лампа на стене около дежурного, который не спит, лежа с открытыми глазами с телефонной трубкой около уха. По линии несутся привычные гудки:

— Лезерв слушает? Поверочка, дорогой!

В землянку входит с мороза дежурный по резерву, румяный фейерверкер Малков. Он в полной амуниции, с шашкой и красным шнуром револьвера. Закуривает папиросу, с завистью смотрит на спящих телефонистов и уходит к дневальным на конюшню.

На рассвете вдоль коновязи слышен голос Круглова:

— Ездовые, на водопой!

Дверь открывается и в землянку вкатывается неутомимый фельдфебель:

— Кто дежурит? Ты, Мухортов? Доложи командиру как встанет, что из обоза лошадей пригнали.

— Слушаю, Андрей Акимыч.

— А ребята еще спят? Эй, телефонисты, день на дворе. Вставай, так вашу...

Спящие продолжают лежать под шинелями, не проявляя желания подниматься. Тогда Минаков скручивает полотенце и пошел гулять по нарам:

— Будет дрыхнуть-то! Москалев, проспишь все царство небесное. Вставай, а то лису гонять буду!

Москалев вежливо протестует:

— Что вы, Андрей Акимыч, дайте ребятам соснуть-то: Ведь нам лошадей не поить.

— Что вы дрыхните, как бабы? Вставай все.

Минаков уходит. На нарах поднимаются сонные фигуры:

— Вот эроплан, лопоухий чорт — вздохнуть не даст.

— К каждой бочке гвоздь.

— Москалев, не пущай его в землянку.

— Карабаш, вали за кипятком. Твоя очередь.

В распоясанных гимнастерках телефонисты наскоро умываются остатками чая и выпавшим за ночь снегом. Ведро дымящего горячим паром кипятку оживляет бледное утро. Кружек на всех не хватает, и чай пьют по очереди, черпая из ведра.

Сквозь осколки мутного стекла вползает осенний день. Москалев назначает трех человек исправлять линию в управление бригады. Через полчаса Антоненко, Донских и Журавлев решительно надевают шинели, берут катушку проводов, перочинные ножи, топор, и весело уходят, гремя масками:

— Москалев, порции наши у дежурного оставь.

— Да ладно, уж знаю.

— Ну, шагом марш, непромокаемая команда.

Телефонисты постепенно разбредаются по резерву — кто стирать белье к колодцу, кто чинить сапоги к сапожникам, кто в канцелярию написать на машинке адрес письма или достать нечитанную газету. В землянке делается просторно. Москалев вместе с Зотовым разложили на нарах шинель и прикидывают, как бы подшить к ней подкладку из куска австрийской бумазеи, — Москалев подобрал эту находку в окопах при наступлении и давно бережет в своем ранце. Зотов старый запасной солдат — ему 43 года, он и сам забыл, когда учился у деревенского портного мальчиком, но знания его сейчас очень ценны. За беззаботную веселую душу, за доброе сердце и открытый характер все называют его: Костя.

Москалев и Зотов терпеливо вымеряют шинель, как стратегическую карту.

Карабаш, пользуясь свободной минутой, ложится у мутно-серого окна и читает неизвестно откуда взявшуюся методику арифметики. Мухортов старательно пишет письмо замусоленным чернильным карандашом. Землянка согревается отдыхающим уютом домашнего очага.

В резерве идет утренняя уборка. После водопоя и первой дачки овса, ездовые отвели лошадей на открытую коновязь и начали чистить их скребницами, перекликаясь веселыми грубо-ласковыми шутками.

Андрей Акимович и Круглов наблюдают за уборкой, расхаживая вдоль коновязи с хозяйским видом, делая замечания:

— Федоров, — говорит Андрей Акимович, — твоя кобыла-то на ноги сдает, фельдшеру нужно показать. Эй, лошадиный бог, — кричит он, — иди сюда с сумкой-то, посмотри «Дубину».

— А ты, Ванька, лучше за своей парой смотри. Они у тебя в грязи, как свиньи, а лошадь должна быть в порядке.

По дороге из передков показывается ездовой первого орудия, Яшка Денисов. Он известный весельчак и балагур, небольшого роста, но крепко сшитый и подвижной, как ртуть. Его прозвали в шутку „Брусиловым“ за то, что он имеет большое сходство с портретом этого генерала. Хитро подмигивая и посматривая на ездовых, Яшка идет по коновязи. Разведчик Сергеев бежит навстречу и приветствует генерала:

— Смирно, равнение на середину! Гаспода!

Яшка лукаво-небрежно отдает честь:

— Здорово, молодцы!

И неподражаемо бросает:

— Гасп-да!

Сколько беззаботной игры в его белых подстриженных усах, в хитрой улыбке и коротком полушубке, подпоясанном веревкой. Дружный хохот.

Сергеев рапортует:

— Ваше превосходительство, так что в резерве все благополучно.

— Молодцы, доблестные герои — разрешаю по порции мяса и по чарке водки.

Минаков снисходительно улыбается:

— Катись, катись, Яшка, на легком катере!

На бугре со стороны батареи появляются Глеб с Ильей Васильевичем. Они идут в резерв. Глеб в шинели без пояса с неразлучной палкой: револьвера и шашки он никогда не носит. Вчера он сильно кутнул с «отцом Паисием». Ему захотелось посмотреть лошадей.

Минаков раньше всех заметил командира и следит за ним зоркими глазами.

— Ездовые смирно, равнение направо!

Дежурный фейерверкер Малков, поддерживая на ходу шашку, торопливо спешит навстречу. За четыре шага он ловко вытягивается во фронт и бесстрастно громко рапортует:

— Ваше высокородие, за время моего дежурства происшествий никаких не случилось.

— Здравствуй, Малков.

Тем же бесстрастным голосом:

— Здравия желаю, ваше высокородие.

Глеб командует ездовым «вольно» и направляется к лошадям в сопровождении почтительной группы фельдфебеля, Ильи Васильевича, Круглова и дежурного. Глеб в хорошем расположении, он чисто выбрит, на пухлых щеках играет румянец.

— Круглов, твоя „Лансада“ еще десять лет пробегает, а? До победного конца. Верно? Ха-ха-ха. Ну, и лошадь. А „Орел“ все в обозе? Надо завтра-же вернуть: таких лошадей в обозе держать нечего.

Пройдя по коновязи, Глеб останавливается у кухни и пробует борщ из котла. Помощники кашевара режут порции мяса и втыкают их на деревянные палочки.

— Ребята, вы хоть руки-то вымыли-бы.

— Ваше высокородие, да они и так чистые.

Глеб весело хохочет:

— Чистые, как у трубочиста—ведь самим есть придется, а не свиньям давать. Минаков, посматривай там, чтобы почище... того...

— Слушаю, ваше высокородие,—вытягивается исполнительный, ничему не удивляющийся, Минаков.

„Спичка“ разжигается у землянки каптенармуса. Слышно на весь резерв, как Глеб распекает в чем-то провинившегося солдата:

— Я тебя, мерзавец, в пехоту загоню! Безобразие, лодыря здесь гоняете. Привыкли здесь...

Глебу подают экипаж и он уезжает в шестую батарею, приказывая каптенармусу немедленно сделать что-то без всяких разговоров, а иначе...

После уборки лошади отведены в конюшню и вкусно хрустят сеном. Резерв затихает перед обедом. У кухни, как алхимик, работает кашевар, ворочая черпаком борщ. Облако ароматного пара стелется над котлом. Наконец, дежурный сообщил фельдфебелю, что все готово и звонко командует от денежного ящика:

— За-о-бе-дом!

Со всех сторон вприпрыжку выбегают из землянок с баками, котелками и ведрами. Перегоняясь по узким

тропинкам, прыгая через кочки, солдаты окружают кухню лентой живой очереди.

Начинается веселая шутливая перекличка:

— А ну давай, Аксенов, давай на команду разведчиков.

— Засыпь ездовым-то погуще.

— Подходи, телефонисты, не задерживай.

— Кто получил, откатывайся,— кричит кашевар.

— Чепраком-то ему, Ваня, по кумполу, что ты смотришь,— добродушно посмеивается дежурный.

— Это что за безобразие? Пятнадцать нарядов без очереди, на шесть часов под ранец! В пехоту заломаю,— кричит Яшка Денисов, подражая Глебу.

— Дать пробу его превосходительству!

— Крой, Брусилов!

— Гасп-да!

Ведра и котелки осторожно плывут от кухни и растекаются по землянкам.

В команде телефонистов все в сборе. Москалев с торжественным выражением лица режет длинными ломтями хлеб. Из принесенного ведра борщ переливается в медный бак. Москалев откладывает порции и для дежурных, которые через час сменяются с наблюдательного пункта, а остальное мясо режет на мелкие куски и «крошонку» засыпает в бак.

— Ну, начинай, ребята!

Ложки дружно опускаются со всех сторон, черпая горячий борщ. Во время обеда не полагается шутить и «выражаться» — так требует неписанный древний закон. Обязательно для всех и другое правило: сначала черпай ложкой один борщ, а для мяса будет своя очередь. Сигнал брать крошонку имеет право дать каждый, независимо от звания и общественного положения в землянке.

За обедом все равны: и Москалев, и Карабаш, и молодой телефонист Завитаев, даже скромный, уступчивый Костя— каждый из них с одинаковым правом может постучать ложкой о край бака и объявить равнодушным тоном, как будто это сущий пустяк, о котором и говорить не стоит:

— Валите со всем, что-ли!

Или:

— Ну, берите порции-то, что-же вы?

Только тогда начинает разбираться мясо. Сегодня эту команду дает Валет, который недавно из номеров переведен в телефонисты:

— Пошли в атаку-то, время уж.

Он первый опускает ложку, вылавливая без выбора кусочек мяса. За ним послушно следуют все, без лишней торопливости, но быстро и дружно разбирая крошонку, которая исчезает в несколько минут.

С наблюдательного уже торопят в телефон:

— Скоро там смена-то собирется? Насиделись — терпенья нет!

Шесть телефонистов быстро собираются, застегивают ремни, надевают ловкие карабины и уходят на смену в наблюдательные пункты.

В резерве ленивая тишина. Сменился караул у денежного ящика. Заведующий хозяйством Сорокин, без пояса и с палкой, подражая Глебу, проходит вдоль землянок с властным, недовольным лицом. Он останавливается у лошадей и грубо кричит на дневального за рассыпанно есено:

— Безобразие... Для чего ты здесь поставлен? Мух гоняете, сволочи!

Дневальный безропотно вытянулся во фронт.

— Дежурный, приказать Круглову поставить этого на четыре часа под ранец.

Сорокин проходит в цейхгауз и с вещевым каптенармусом Васильевым осматривает полученные из интендантства белье, шинели и сапоги.

Серой тенью опускаются на лес ранние сумерки. В землянках затапливают печи. Дым низко стелется по земле. Через узкие щели дверей дрожат слабые огни.

В землянке ездовых чувствуется оживление по случаю приезда из отпуска одного товарища. Народу набилось человек двадцать. Возвратившийся отпускник Петрищев расположился на нарах у печи, разбирая свои «вещи».

— Ну, Гриша, рассказывай, какого ты хорошего слушку привез?

— Слушку тебе? Первым делом — хлеба в России нет...

— Как же так?

— На станциях нипочем не достанешь.

— Хлеба нет, а воевать все лезем!

— Как у нас в селе Ванька Кривой: в кулачном бою на Крещенье стоит, вся ряжка в крови, весь в синяках, а знай кричит: наша берет! Уж его и с ног сбили, ему и голову проломили, из драки чуть ползет, а все бормочет: наша берет!

— Герой, нечего сказать. Разрази его в дурака!

— Одно долбят: будем воевать до победного конца, а иначе никак не согласны.

— А с чем воевать-то, они подумали?

— Им, брат, об этом ломать голову нечего: ты двадцать шесть месяцев воевал, ты и еще будешь воевать.

— А мы не желаем! Солдаты не хотят.

— Да вот только у них не спрашивают-то, а то-бы...

— Добьют до ручки, сволочи!

— Теперь пропали...

— Кругом шестнадцать.

— Так и этак пропадать: я здесь пулю в лоб получу, а семья там с голоду подохнет. Вот попали в собачий ящик...

— А по железным дорогам что делается — Гаврила крутит. Ни пройти, ни проехать. Все поезда набиты нашим братом, а вольных в вагоне и не увидишь, разве что бабы. В городах посмотришь, сколько-же народу окопалось — страсть! Ходят чисто, шинель на нем новенькая, погоны блестят, сапоги наскипидарены, и сам на тыщу двести! Куда ни плюнь, все их благородие.

— Был, говорит, извозчик — звали его Володя, а началась война, стал он прапором и теперь его благородья!

— Только и делов.

— Хлеб по восемь гривен за фунт, а они: до по-бе-дно-го!

— С ума сошли, вот что.

— И платют за хлеб-то?

— Скажи спасибо, дорогой, если за такую цену тебе дадут, а с Киева ни на одной станции куска не достанешь.

— Теперь, ребята, кто в отпуск поедет, хлеба у каптера обязательно бери на дорогу побольше, а то наголодаешься, почем зря.

— Ну, и дела.

— Воевали-воевали, бились-бились, и дошли до ручки.

— Должно, мир так и застрянет на волах...

— В грязи увяз, сучья отрава.

— Теперь цельный год из трясины не вылезет!

Около землянки наверху раздаются звуки гармонии: разведчик Матвеев прогуливается по резерву.

— Матвеев! Слышь, что-ль, Колька? Заходи сюда с гармоньей-то.

— А что у вас тут за свадьба?

— Да, иди, чорт, не упирайся. Чаем напоим.

Из отпуска Петрищев приехал не с пустыми руками, из недр своего мешка он достает бутылку денатурата, кусок домашнего сала, пышек и раскладывает угощенье на доске, заменяющей стол. Молчаливый ездовой Качалов, с копной сине-черных цыганских волос, режет перочинным ножом хлеб и сало. Из деликатности никто не смотрит на медленную работу Качалова, словно это никого не касается, а на синюю бутылку каждому в высокой степени наплевать:

— Пусть себе стоит — э-ка невидаль!

Матвеев пробует голоса гармоники, ничего не замечая. А приготовления идут своим чередом: откуда-то появляется зеленая толстая рюмка с обломанной ножкой, Петрищев наливает в нее до половины фиолетовый спирт, потом доливает водой, и спирт на глазах превращается в неопределенно-густую жидкость молочного цвета.

— Ну-ка, ребята, подходи,— приглашает он.

— Да пей сам-то, что ты?

— С дороги-то!

— Ну, будьте здоровы: за тот несчастный мир, что ли, выпьем,— Петрищев быстро опрокидывает рюмку, смачно кряхтит и закусывает салом при благодушных сочувствующих взглядах гостей.

Вторая рюмка подносится Матвееву, который сначала из вежливости отказывается, но довольно быстро позволяет себя уговорить. После того приветливая рюмка обходит всех гостей, издавая сногсшибательный дух спирта, керосина и лака. Хмель ударяет в голову сладким ядом.

Петрищев достает немытую кружку, наливает в нее остатки спирта и хозяйски распоряжается:

— Ванька, беги за Андрей Акимовичем!

Но в этот момент дверь открывается, и через узкую щель пролезает боком Минаков,— о волшебной бутылке он уже знает по „беспроволочному телеграфу“.

— Вот где народу-то, как людей,— скрывая легкое смущенье, пытается шутить он.

— Ну-ка, Андрей Акимович, — говорит Петрищев,— покушайте, от чего автомобили бегают.

— Что такое? Божья водица? Ну, будьте здоровы: за всех пленных и нас военных!

Фельдфебель принимает кружку, торжественно, как драгоценную влагу, подносит ее ко рту и неуловимо-быстрым движением туловища глотает одним духом:

— Сильна, проклятая. И где добыл такую?

— Силь-на!

Забытый в углу Матвеев неожиданно берет на гармонике несколько аккордов, заполняя густыми басами тесную землянку. Угадывая общее настроение, он начинает знакомую песню, которую подхватывает один голос, потом другой, и буйным вихрем разрастается общий хор:

Трансвааль-трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне!
Под деревцем развесистым
Задумчив бур сидел.

— О чем задумался, старик?
О чем горюешь ты?
Горюю я по родине
И жаль мне край родной.

Сынов всех девять у меня,
Троих уж нет в живых,
А за свободу борются
Шесть юных остальных.

А старший сын — старик седой,
Убит был на войне.
Он без молитвы, без креста
Зарыт в сырой земле.

А младший сын — двенадцать лет,
Просился на войну,
Но я сказал, что нет, как нет!
Малютку не возьму.

Отец, отец, возьми меня
С собою на войну!
Я жертвую за родину
Младую жизнь свою.

Я выслушал малютки речь,
Обнял, поцеловал,
И в тот же день и в тот же час
Пошли на вражий стан.

Однажды при сражении
Отбит был наш обоз
Малютка на позицию
Ползком патрон принес.

Настал — настал тяжелый час
Для родины моей.
Молитеся вы, женщины,
За наших сыновей.

Сантиментальная мелодия звучала, как трагедия. Солдаты любили трогательно-простой рассказ о несчастном старике, потерявшем своих сыновей. Вспоминались покинутые семьи, прощание с отцом, «Последний нынешний

денечек» и неизжитое отравленное горе войны. И с чувством затаенной печали неслись последние слова:

Настал—настал последний час
Для родины моей.
Молитеся вы, женщины,
За наших сыновей.

Эй, вольные, счастливые люди, солдат тоскует о своей горькой судьбе!..

Гармоника поднялась в вольном разбеге и круто остановила свою последнюю волну. Матвеев посмотрел на тенора—ездового, что-то сказал ему, и они начали бравурную веселую на мотив „Что за говор, что за ропот":

Церковь золотом облита.
Пред оборванной толпой
Проповедывал с амвона
Поп в одежде парчевой...

И буйным потоком понеслась через плотину вскипевшая удаль молодых голосов:

Изможденны, и унылы
Были лица прихожан,
Их в мозолях были руки—
Поп был гладок и румян.

Братья, он взывал к народу,—
Не противьтеся властям,
Все вы ропщете на бога,
Что живется плохо вам.

Это дьявол соблазняет
Вас на грешные дела.
В свои сети заплетает,
Чтоб душа его была.

В это время мимо церкви
Чорт случайно проходил...

Дальше следовала поучительная история, как возмущенный чорт проучил попа, схватив его за бороду:

Что ты, отче толстопузый,
Расскажи-ка, людям врал?
И какие муки ада
Беднякам ты обещал?

Песня рвалась из землянки на простор. Боясь потухнуть, коптилка мигала слабым огоньком, освещая смуглые, странно-похожие друг на друга лица.

В дрожащем пещерном полумраке неслась гармоника упругой беззаботно-веселой волной.

---

11. Перед зимой.

Война вступала в спокойные зимние берега. Работа шла своим чередом. Гуще обматывались окопы колючей проволокой, появлялись новые блиндажи, хода сообщения, и раскидывал тонкую паутину телефон. Через полотна покрытых неровным снегом полей залегли тонкими змейками запасные окопы.

Штабы неподвижно оседали на места, располагаясь по домашнему. Склады фуража и продовольствия разгружали свое нутро, выростая в питательные базы. Близость противника, застывшего в зимних окопах, теряла свою остроту. Будни позиционной войны засасывали тиной, растравляя старые раны. Тяжелым работам по устройству оборонительной полосы не предвиделось конца. Из штабных канцелярий присылались все новые и новые задания, словно кто-то упрямый и ненасытный хотел лишить солдат последнего отдыха.

Штаб дивизии разместился в деревне Смоляве, в шести верстах от передовой линии. Артиллерия противника свободно доставала деревню, о чем свидетельствовало несколько зияющих воронок на улице и огородах. Но снаряды посылались редко и штаб с обозами, учреждениями, полевым лазаретом был спокойным тылом, где можно отдохнуть от безнадежно унылой скуки око-

пов. Странно было видеть этот недоступный комфорт: как люди помещаются не в землянках, а в обыкновенных халупах, где столько света и тепла; что под рукою находятся колодцы и можно в любое время стирать белье.

Солдат в распоясанной гимнастерке наливает воду в грязно-желтый самовар, а две женщины в накинутых платках спешат через улицу к соседке.

Большие санитарные повозки в серых полотнах загромоздили широкий двор. Проезжают забрызганные грязью конные ординарцы, медленно ползут возы с сеном на позицию, а навстречу печальные двуколки везут раненых вчерашней ночью. Вдали бухает несколько ударов, как из огромной глухой хлопушки. Люди в сером заполняют деревню — чувствуется, что фронт близко, и вот-вот плеснет незатухшим грозным вулканом.

От Смолявы к позиции по оврагам, в лощинах и в лесу притаились полковые обозы и батарейные резервы с передками. Под деревьями дымит кухня, и мелькают крутые спины лошадей.

За штабом полка начинается район артиллерийских позиций. Нужно осторожнее итти по кустам, чтобы не попасть под удары своих орудий, которые не легко заметить на закрытых местах. Ударит выстрел через голову, и обожжет горячим воздухом.

На фронте полное затишье. Жизнь начинается только с вечера, когда нужно сторожить противника в ожидании ночной тревоги. Из окопов поднимаются ракеты и медленно падают, рассыпаясь в искрах, как неловкие ночные птицы. Стреляют редкие винтовки. Миномет неожиданным взрывом раскалывает в осколки застывшую ночь.

В темноте выползают из окопов осторожными группами:

— Пошли на разведку!

Ложатся серыми пятнами при вспышках ракет, сливаются с землей.

Вчера полковая разведка напоролась между окопами на немецкую. Испуганно лопнули винтовки, а ручные гранаты разорвали смутную тревогу ожиданий. Густым басом бухнул миномет, и залаяли железными голосами пулеметы.

Тревога наростающей волной понеслась через телефоны:

— Штаб полка, штаб полка, штаб полка!

— Слушает штаб полка.

— На участке третьей роты наступление.

— Что такое, кто стреляет?

— Наступают против третьей роты. Разведка открыла огонь.

— Где противник?

— Густыми цепями идет на проволоку!

— Приготовить ручные гранаты.

— Третья батарея — заградительный огонь!

У орудий подхватило вихрем:

— Бат-тарея к бо-ю! По цели номер восемь. Левее ноль-двадцать. О-гонь!

Воздух загудел от частых ударов. Бухнула чугунным раскатом мортира. Открыла огонь шестая батарея. Лес осветился вспышками белых огней.

— Два патрона — беглый о-гонь!

Винтовки стреляли частым огнем, сливаясь в наростающем сплошном треске. Захлебывался в железной истерике пулемет.

Не слышно впереди заглушенного удара пушки, но неожиданно близко сверкает короткая молния, и трах-тяжелым взрывом по вздрогнувшей земле. Вихрем летят невидимые осколки, шлепаясь в деревья.

— Усилить огонь!

— Еще усилить!

Выстрелы гудели железной октавой. Лес дрожал.

Взметнуло пружиной:

— Амуничить лошадей.

— Приготовить передки!

Сейчас настанет решительный момент. Готовится неизбежное. В окопах будет невообразимая трагедия штыковой атаки...

Но незаметно утихает бой, становится тише, меньше выстрелов, замолкают батареи, реже и спокойнее стучат пулеметы.

Приходит желанная команда:

— Сто-ой — отбой!

Встревоженный муравейник успокаивается.

На утро солдатский вестник сообщил:

— Ничего не было: наша разведка напоролась на ихний секрет, ударили гранатами, а там сообщили в роту, да в горячке не разобрались, и пошла. Только снаряды пошвыряли!

На фронте стояла тишина:

Без перемен, поиски разведчиков.

* * *

После ужина как убить скуку последних часов, чтобы забыться сном до утра? Мигает тусклым светом коптилка. Черная тоска лежит на сердце.

— А наш заведующий и нажился, — говорит валет, снимая мокрые сапоги.

— Да-а, сюда положил.

— А я так думаю — вряд: потому человек он непьющий, в карты не играет.

— Ну-к, что же: вот больше и соберется.

— Да куда собирать-то? На книжку он не откладывает ничего, — у него и книжки-то нет, — сомневается осторожный Карабаш.

— Не-ет? Ты знаешь?— Возмущается валет.—Здесь нет, там есть!

— Прапорщик Попов только пять месяцев заведывал и две тысячи отложил — сам хвалился. У него и книжка была в полевом казначействе.

— То Попов — сравнил! Энтот на фураже экономил. Он в переходах-то много овса купил? Я сам в ездовых косил, а кому он за тот овес платил — Пушкину? Спроси у писарей,— Шушпанов-то все знает!— как они на этот овес счета писали: куплено столько-то пудов, и деньги получены сполна. Иван Ветров расписался, ревизия утвердила и хорош.

— Чистое дело!...

— Людям счастье.

— А тут страдаешь-страдаешь и хоть-бы...

— Нет, ребята: наш заведующий себе не берет.

— Опять свое: купи его за рупь за двадцать, А я тебе говорю: не нет, а так точно, берет.

— А если не берет, значит, есть он полный дурак.

— Нашел глупенького—деньги в карман лезут, а он будет отказываться.

— Святой какой нашелся—да ум-то у человека есть?

— Половину себе, половину Глебу и прав:

— Концы в воду и шито-крыто.

— Они всегда правы, а мы всегда виноваты,— в бога, в веру, в войну...

— Ты много за это время нажил? Сколько жалованья-то огребаешь,—сорок пять копеек?

— И те к свиньям в двадцать одно спускаешь.

— Семь копеек на табак не останется.

— А он сто пятьдесят в месяц, как одну копеечку, получит, да еще у тебя-же хватает... К примеру, за продукты офицерам полагается платить—вот! А наши берут у каптера, сколько хочут и ни разу ни... матери не платили!

— На то они начальство, а мы с тобой земляки!

Кирюша Дегтерев, не принимавший участия в споре, сердито бросает недокуренную цыгарку:

— А ты почему необразованный, какое ты имеешь право?—Неожиданно нападает он на валета, делая злые глаза на безусом, неулыбающемся лице.

Кирюше сорок лет, он отличный мастер, материалист, безбожник, обличитель и мудрец. У него ясная отточенная мысль, его интересно послушать,—этот знает:

— Все на свете и топор. Искусственный человек!

— Какое ты имеешь право, — притворно-сердитым тоном продолжает Кирюша.—Ты почему, сукин сын, твою мать, не учился в емназии? Почему у нас с тобой мозговая оболочка не работает и уши холодные? Эх, валет, валет, мы с тобой только и знали, как над землей спину гнуть, уши у нас лопухами отрасли, а умные и обалтывают. Ведь они образованные, тилигентные,— они в емназии-то были еще в то время, когда мы свиней пасли,—вот. Мы хворостиной у свиней мух отгоняли, а они французские слов наизусть учили. Понял? Они-то в люди вышли, а тот человек так и остался Иванушкой-дурачком и уши холодные. Знай только лоб крестить да поклоны отбивать, а попы ему внушают: „терпи, свет, на том свете в рай попадешь“. Дурачки-то рады до смерти, уши развесили, глазами хлопают, а умные под з.....цу лопатой их подгоняют и свое: идите, говорят, ребятушки, на врагов — это не-при-я-те-ли, бей их беспощадно! Ваняки и поперли вгрудную: крестик им обещали; они и ошалели, как тот баран: мы-то! яво-то! А как встре-

тили такого супчика жареным петухом по морде, он и летит назад, как угорелый, за ж..у держится:

— Ой-ей-ей!...

— Ты что, земляк, получил? Говоришь, давай не надо? А против него ты с чем шел, голова садовая, с блинами? Поехали на фронт, в Виленскую губернию, Варшаву защищать, а спроси у него, видал он, какая это есть Варшава и с чем ее едят? И она ему нужна, как летошний снег. Наш фронт в Калужской и Тамбовской губернии, дорогой, а ты чорт те куда занесся—вот зачем шел, то и получай.

— Хлеб уж почти до рубля за фунт догнали, а подожди, будет и по десять. Иначе нашего брата не прошибешь. Голова-то совсем пустая, и все мечтают, как-бы потише, да начальству угодить, да „слушаю“, да „так точно“. И правильно записали на красных вагонах — „сорок человек и восемь лошадей“. Значит, нашего брата восемь человек одной хорошей кобылы не стоют. Верно в книжке напечатано, что Карабаш прочитал: серая скотин-ка. Так оно и есть. Помнишь, в Варшаве на садах чего написано: солдатам вход и собак вводить запрещается. Раскумекиваешь, что это значит-то?

— Ну, Кирюша, ты и мутный,—говорит Костя,—тебе бы грамоте учиться, ей-богу, архиереем стал-бы, верное слово!

— Или начальником дивизии.

— Подожди, Костя, болтать—архиереем. Время придет, за ум землячки возьмутся и знаешь по какому месту и попам и архиреям, и начальству намахают.

— Терпи, ребята, терпи, дурачки, до чего-нибудь дотерпитесь.

— Кирюша, человек ты искусственный, а вот не знаешь одного: когда-ж война кончится?

— Вой-на? Когда рак свиснет, да мы с тобой немножко поумнеем, тогда волы к нам из Сибири и дотянут—встречай тогда.

Глазков и Костя, лежа на нарах, запевают высокими голосами:

Умер бедняга, Ванюшка Кронштадский,
Долга-а, родимый, страдал.

И дружно подхватывается знакомая песня:

В этой болезни мучительной-тяжкой
Чорту он душу отдал.

Кирюша мрачно смотрит на угли неулыбающимися светлыми глазами. Он не любит песен.

---

12. „Газовые атаки“.

В землянках пасмурное настроение. Вчера убит номер пятого орудия Антонов.

— Отпахался вчистую.

Никто этого не ожидал в прозрачный морозный день. С утра не было слышно ни одного выстрела. Хотелось забыть о войне.

Номера грелись у костра. Вода начинала бурлить в котелках, ожидая щепоток чая. И вдруг засверлило в воздухе неприятно-знакомым зловещим гулом. Глаза заблестели тревогой.

Бац! Раскупорилась железная бутылка, и шрапнель с жалобным удивленным визгом рвется низко над костром.

— Пью-ю-ю!...

Воздух зазвенел, как разбитое стекло. Антонов ходил в передки стирать пару белья и возвращался на батарею. Он был в нескольких шагах от костра, и повалился, как сноп. Он лежал на спине, раскинув руки, серая папаха откатилась в сторону, и на лбу сочился кровью укус шрапнельной пули. Убило наповал.

Выстрел был первым и последним за весь день. Несмотря на близкий разрыв, пострадал только один Антонов, словно он был назначен в жертву залетевшему снаряду.

Вечером Антонова схоронили в передках под звуки самодельной панихиды. Грустно было расходиться по землянкам и думать, что убит славный товарищ, который еще вчера играл с нами в пять листиков. Вспоминался его ласково-внимательный спокойный характер, как он уговаривал номеров, затеявших шумную ссору из-за чайника:

— Да будет вам, ребята,—экая безделица, чайник: мы новый наживем без отца. А то из пустяков стоит галдеть.

С какой затаенной тоской мечтал он о мире, надеясь возвратиться домой. Он участвовал в самых тяжелых боях и оставался невредим. И нужно же было попасть ему под этот несчастный выстрел!

— Такой парень и пропал—за что?

Не хотелось говорить, и вечер затухал в невеселых думах. Не пришел на огонек Ванька Сергеев поболтать и подурачиться, как раньше в неистощимых забавах изобразить балалайку и лихо спеть:

Жил на свете мужичок,
Маленький, горбатый —
Но до девок он такой,
Очень тароватый.

После ужина сразу легли на привычных местах, но никто не просил Муравлева рассказать новую сказку. А любили слушать его ладную речь, незаметно засыпая, пока Муравлев с негодованием не убеждался, что спит вся землянка:

— Петька, ты спишь?

— Нет, говори

— А Карабаш?

— Энтот спит.

— Ну, чего-ж тогда?

— Да говори, пожалуйста.

На другой день надо было долго уговаривать Муравлева рассказать новую сказку. Он отказывался, изобличая всех во лжи:

— Ну, чем вчерась-то кончил? Вот и никто не знает, а просите новую. Я сказку-то не кончил, ее еще часа на два хватит.

— Трофим Степанович, — ласково убеждают его: — говори, пожалуйста, с того места, как солдат поехал к двенадцати разбойникам. Это все слыхали, а уж дальше только рассказывай и спать никто не будет, верное слово.

— Ладно, черти, уговорили — скажет Муравлев и начнет свой плавный рассказ.

Сегодня сказка не шла на ум, и засыпали молча. Несколько дней назад фельдфебель предупредил в резерве, что может быть газовая атака. Противник приготовил балоны с газами и при ветре в нашу сторону мог пустить удушливую волну. Передовые наблюдатели были предупреждены, чтобы смотреть в оба, чтобы держали связь с пехотой и при появлении газов сейчас-же сообщили по всей линии условным немым сигналом — длинное многоточие:

— Та-та-та-та-та-та.....

Осмотрели маски, заготовили хворост и сухие ветки для костров и начали забывать о газах:

— Если все помнить, да думать, тогда от одной заботы вши съедят.

Ночью дежурный телефонист принял тревожный сигнал.

— Москалев, вставай, скорее. Тебе говорят: газовые атаки!

Страстный шопот, как молния, разбил сон. Телефонная трубка будила, звала и настойчиво кричала гудками многоточий:

— Та-та-та-та...

Вскочивший Москалев громким отчетливым шопотом:

— Глазков, вали к фельдфебелю: газовая атака! Ребята, вставай!

Землянка закипела встревоженным ульем. На нарах обувались серые фигуры. Коптилка мигала сиротливым глазом. Телефон настойчиво колотил частоколом, задыхаясь тревогой. Охваченные страхом, в землянках спешат разобрать маски, надеть шинель и наскоро положить в ранец забытую вещь.

Уже по резерву покатилось:

— А-му-ни-чи-вай!

— Ездовые по коням.

— Намочи торбы.

В торопливой суете движений остывает чувство страха. Что-то делать, спешить, дорожить секундой, иначе надвинется тяжелое, как свинец, беспощадное и закроет последний выход. Ездовые с мокрыми торбами выводят недоумевающих лошадей, у повозок, кухни и зарядных ящиков мелькают серые тени. Закаленной пружиной сжимается глухая тревога.

У хвороста собираются телефонисты с готовыми масками через плечо. Ожидается сигнал—зажигать костры. В передовой линии не слышно ни одного выстрела, но сейчас начнется буря... Томительно ползет ожидание, застывает на месте, останавливается и снова ползет.

Москалев кричит:

— Спроси там, Костя, не пора-ли маски-то надевать, и где газ пускают?

Карабаш осторожно нюхает воздух.

— Чегой-то вроде как завоняло.

— Где?

— Вроде оттуда.

— Ничего не чую.

— А ну, валет, повернись задом-то, ну нагнись, супчик.

— Ступай, покрути хвост мерину, — отшучивается валет.

Он натягивает на голову резиновую маску и сразу превращается в серого дьявола из забытой сказки. Валет прыгает через хворост, хватая молодого Настенко:

— Эх, я милого любила!

Но дышать в маске трудно и валет спешит освободить себя от противогаза. Он глотает снег и ругается:

— В этой маске не от газов спасаться, а чертей душить.

— Надышался, валетина?

— Главная вещь ничего не видать, глаза застилает, а в грудях воздуху нет.

Кто-то говорит злым безнадежным голосом, проходя к землянкам:

— Ну, и газовые атаки, ну, и удушат, а я все на свете драть хотел, и самого себя... Разве я теперь человек? Все нутро гнилое.

Фельдфебель носился по резерву из конца в конец. Он успевал проверить кухню и зарядные ящики, осмотреть повозки канцелярии и двуколку телефонистов, подогнать нестроевых, усилить заготовку хвороста и послать бочки за водой. Тоска ожидания не коснулась его.

Из землянки выбежал Костя, — он дежурил у телефона:

— Ми-на-ков!

— Ты что, — спрашивают из темноты.

— Где Андрей Акимыч?

— Сейчас: фельдфебеля к телефону!

И понеслось:

— Фельдфебеля к телефону!

— Минакова к телефону!

— Ми-на-ко-ва!

— Кто там зовет?—Невидимкой откликается Андрей Акимович.

— Командир батареи требует к телефону.

Фельдфебель скользнул высокой тенью и скрылся в землянке телефонистов. Через минуту вихрем покатилось, поднимая волну буйной радости:

— По местам! Нет газовой атаки—ложная тревога! Опра-вить-ся!

— Пошел.

— Гаврила, крути!

— Убирай торбы!

— Вали на печку!

— По землянкам.

— Сторонись война—мир приехал.

— Накру-чи-вай!

Солдаты растекались по землянкам с шутками, с веселым матом, снимая ненужные маски, мокрые сапоги и амуницию. Снова засветились потухшие огоньки.

Костя рассказывает на успокоенных нарах:

— Спать мне захотелось невозможно. Я проверку по всей линии сделал, все правильно и думаю: дай прилягу около трубки, авось не просплю. И только я лег, вдруг, слышу та-та-та-та. Как чорт горохом засыпал. Я шуметь: Москалев, газовые атаки!... И пошла.

— А я спросонок никак не пойму, что и почему? А потом уж, как все повскакали, мне в голову сразу ударило. Кинулся маску искать, никак не найду—ребята ее под катушки завалили. Ну, и жара.

— Так и думал, всех подушит.

— Это пока пробу делают: землячки, будьте готовы!

— А чего пробовать? Наши маски и без пробы никуда не годятся, вроде коровьего хвоста. В пять минут задыхаешься — нет терпенья.

— У кашевара немецкая маска хороша. В ней дышать легко, как через сито.

— А ты знаешь, чего на ней написано? Я сам читал: 1911 год. Вот когда они обдумали и сработали эти маски, — у нас тогда не знали, что такое газы и какие они есть!

— Плохое дело, братишки. Как наставит баллоны, как по ветру пустит, да из грязных саданет — все на свете перемешается.

— Нет спасенья.

— Пропадем, как таракан на сковороде.

— Эх, жизнь, — это не жизнь, а жестянка!

На смену усталой ночи поднималось мутное, холодное утро.

---

13. На левом наблюдательном.

Дежурить на левом наблюдательном пункте — сплошная тоска. Нас трое: Чудиновский—молодой солдат из Вятской губернии, Матвеев и я. Мы заступили на дежурство после обеда на целые сутки. Наблюдательный пункт находится в ходах сообщения между первой и второй линиями окопов: под непроницаемой крышей в пять накатов тесная могила полтора аршина высоты. Печь сложить не успели, а вместо двери мы закрываем вход палаткой, через которую прорывается холодный злющий ветер.

Днем нельзя было разводить костер на глазах противника и мы ждали вечера. Но полил назойливый мелкий дождь и мы остались на дне окопа, в своей могиле, безнадежно лишенные тепла.

В телефоне спокойно. Редко переговариваются телефонисты:

— Поверочка, дорогой.

Глазков дежурит на батарее; для удовольствия своих друзей он начинает петь в трубку:

Почему я безумно люблю,
Я сама разгадать не умею...

Эй, Глазков я не забыл, твоих песен, разгонявших тоску улетевших ночей! Слушатели приветствуют концерт по телефону.

— Браво, Глазков!

— Молодец, Титка!

— Ему прямо в театрах играть, как артисту.

— Спой еще, дорогой, здорово слышно.

Чудиновский безнадежно ворочается на мокрой соломе, стараясь завернуться в шинель:

— Пропали, как мыши: у меня все кишки застыли.

Матвеев жмется от холода и свертывает новую цыгарку.

— Нужно, братишки, чегой-то делать, — предлагает он с мужеством старого солдата. — Давайте костер разводить и согреем чай.

Предложение принято. Мы поканались на поясе, кому что делать. Чудиновскому досталось итти за дровами, Матвееву за водой, а мне дежурить у телефона.

Первобытный огонек, сжимаясь от ветра, слабо освещает трубу Цейса в темном углу.

— Та-та-та, та-та!

— Батарея слушает.

— Поверочка.

Время остановилось, и холодом наливаются неподвижные пустые минуты.

Вспоминается почему-то учитель немецкого языка, добродушный Федор Фридрихович...

Остановись мгновение, ты прекрасно!

С каким наслажденьем остановил-бы я сейчас такое прекрасное мгновение: широкая лавка в какой-нибудь избе и завалиться на ней спать до утра, а еще лучше на печи согреть застывшие кости. Но я согласен расположиться и прямо на полу, только, чтобы была сухая солома и можно было-бы накрыться дерюжкой.

Из сеней похрюкивает миролюбивая свинья, у дверей ворочается теленок и где-то стрекочет уютный сверчок. И засыпая, я сказал-бы от всего сердца:

...Ты прекрасно!

Но счастье на земле невозможно...

— Матвеев еще не приходил? Что он там?—Сквозь шум ветра кричит Чудиновский, бросая сверху в ход сообщения связку кольев.

— Дрова на складе получил,—смеется он.

— В лесу?

— Охота была: в проволочных заграждениях у второй линии кольев нарубил. Все руки исцарапал. Жечь их все к чортовой матери,—скорее война кончится.

После долгих усилий над мокрыми непослушными дровами, с помощью керосина из коптилки, нам удается развести костер у самого входа в блиндаж. Матвеев приносит воду в двух котелках, расплескав половину по дороге.

Становится теплее от горячих углей, но едкий дым заполняет нашу землянку. Через несколько минут начинает так резать глаза, что Чудиновский не выдерживает и, зажмурившись, матерясь в веру и войну, выползает на четвереньках на мокрые земляные ступени. За ним следую я.

Матвеев стойко держится, пытаясь использовать маску. При свете костра, в мутных волнах дыма, он сидит, как водолаз на морском дне. Но долго выдержать он не может, начинает задыхаться и стягивает с себя маску.

Просидев в блиндаже еще несколько минут, Матвеев вылезает в проход, разворачивая ногами ненужный костер. У него слезятся глаза, а лицо испачкано сажей.

Пока блиндаж медленно очищается от дыма, мы бегаем по ходу сообщения, чтобы разогреть застывающую кровь. Назойливый дождь не утихает. Надо спасаться в блиндаж.

Чудиновский растирает мокрые ладони:

— Уйду я когда-нибудь, вот святой крест—уйду,— говорит он.

— Куда-ж ты собрался уходить, Сема,—спрашивает Матвеев с ласковой усмешкой.

— Куда? К немцам уйду. Ночью проползу под проволокой, доберусь до окопов и шумну: вот есть рус—пленный, забирай.

— Да там с голоду уморят—не посмотрят, что ты по своей охоте.

— Ну что-же? Мне теперь все одно. А тут какая жизнь, скажи пожалуйста: вот лежишь на мокрой соломе и пропадаешь, как собака. Нет больше моего терпения! Что мне сдалась эта война, и на кой ляд пригнали нас сюда,—ну, скажи мне?

— Семка-Семка,—задумчиво говорит Матвеев.—Нечего зря болтать: никуда ты из серой шинели не вылезешь, как лошадь из оглоблей, а вот ложец нам всем пришел—это верно. Я третий год воюю, два раза раненый и застудил ноги под озером Нароч. Всю свою здоровью потерял я на войне, а для чего и за что, того не могу понять. Вот слушай: земли у нас с отцом на две души по десять сажень и кормиться тем невозможно. И теперь я так располагаю: к примеру, если Россия победит немцев или они нас победят, что мне от того будет и какая разница? Земли у нас все равно не прибавится и домой я приеду в одной шинели, как есть. Помещик мимо наших дворов пашню, как ножом, отрезал, и за победу-то нашу, за страданья мои земли-то нам задаром не даст. Для чего-ж я страдаю здесь и могу своей жизни решиться? Выходит, что пользы от того мне никакой нет и воюю я не за себя, а за Ивана Ветрова и ему от того большая нажива. Вот почему и есть это не жизнь, а самая жестянка и пускай-бы

убил меня тот снаряд в первом бою, чем дрожать вот так по землянкам. Что теперь я за человек и какой из меня работник? Из меня такой-же работник, как из коровы рысак.

Трубка запищала слабым гудком:

— Та-та, та-та.

— Левый наблюдательный слушает.

— Поверочка, дорогой.

— Сколько время?

— Третий час. Как дела?

— Молчи лучше, Титушка,—холодно...

Я продолжаю держать трубку. Слышатся карликовые глухие голоса. Доносятся отрывки разговоров:

— Пятая рота слушает?

— Слушаю.

— Принимай телефонограмму: командир батальона приказал завтра к десяти часам дать точные сведения о наличии нижних чинов, строевых и обозных, числе винтовок, патрон и пулеметов, адьютант Веселкин. Передал Трофимов, кто принял?

— Та-та, та-та, та-та.

— Слушает девятая.

— Как там скрипите, Ваня?

— Да ничего: печку растопили,—сидим разувши.

— Вот здорово-то, а у нас стыдь...

— Надо печку делать, браток.

Матвеев с головою завернулся в шинель и не поймешь: спит он или делает вид спящего. Ночь переливается в вечность, и кажется, что не будет ей конца. Застывают ноги в мокрых сапогах, и холод медленно пробирается к костям.

— Эх, куда пойдешь, кому скажешь,—грустно шепчет Чудиновский солдатскую поговорку.

Я решаюсь выйти на воздух. Дождь ослаб. Через клочья тумана показалась бледная луна. А ветер злыми хватками мечется над обессиленной усталой землей.

По линии окопов взвиваются с шипеньем ракеты, чертят синим и красным огнем, вспыхивают, горят и гаснут. Лопаются редкие винтовки, разрывая черную ткань ночи.

Близко раздается глухой топот ног. Из темноты вырастают темные фигуры. Они идут прямо по верху, не спускаясь в ход сообщения. Передний натыкается на обгорелые колья у нашего блиндажа и спрашивает сам у себя:

— О, дьявол, кто это здесь? Артиллеристы?

Восьмая рота сменилась и пошла на отдых. Вот кому сегодня лучше, чем нам. Солдаты по одному человеку прыгают через ход сообщения и, шлепая по скользкой грязи, исчезают в темноте. Кто-то загремел котелком о винтовку и тяжело повалился в ход сообщения, проклиная злым голосом:

— Тут пропадешь к свиньям, как...

— Подожди—дождутся и они.

Поддерживая винтовки, солдаты быстро проходят и исчезают в тени.

Низко пролетает одинокая пуля с жалобным тонким гулом, словно заблудившаяся пчела.

Тоска сжимает сердце.

— Куда пойдешь, кому скажешь?

---

14. До победного конца.

День „Зимнего Николы“ 6 декабря считался батарейным праздником, но в честь какого именно события, почему и кем это было заведено, никто из солдат не знал.

В 1916 году праздник совпадал с временем полного затишья на фронте, когда война остановилась в зимних берегах. Во всех землянках курились печи, выдавался керосин и солома для плетения „матов“.

Глеб приказал фельдфебелю подготовиться:

— Чтобы все было чисто, понимаешь?

— Так точно, слушаю, ваше высокородие.

В резерве и на позиции легли ровные дорожки, в землянках убрали «веща», конюшни очистили от навоза. Батарея принимала праздничный вид.

К общему неудовольствию солдат, за две недели до праздника началось строевое ученье. Каждый день приходилось маршировать, перестраиваться, становиться во-фронт, репетировать «ура» и «здравия желаем».

Глеб готовил блестящий вечер, приглашая многочисленных гостей. У «отца Паисия» было забронировано ведро чистого спирта из запасов бригадного ветеринара.

Рано утром было получено угощенье: по полфунту белого хлеба, по одной селедке и фунту подсолнухов.

В котел была положена фунтовая порция мяса, а к обеду ожидалось красное вино—полбутылка на трех человек.

К десяти часам утра Андрей Акимович построил всех в резерве; мы проделали несколько построений, и получили разрешение стоять вольно. Крепко забирал мороз. Снег хрустел под ногами. Задымились ароматные цыгарки.

Андрей Акимович удачно разрешил для себя спиртовой вопрос и весело прогуливался перед фронтом.

Ванька Сергеев на своем неподражаемом Волчке крупной рысью выехал из-за деревьев и круто остановил горячую лошадь:

— Идут, господин фельдфебель.

Минаков скомандовал:

— Ста-но-вись!

По дороге подходила группа: Глеб в новой шинели, „отец Паисий" с синим крестом на рукаве, начальник пулеметной команды, командир батальона капитан Носков, худощавый, мрачный, с давнишним сабельным шрамом через левую щеку, офицеры соседних батарей, гости из полка и управления бригады...

— Смирно, равнение направо!

— Здорово, молодцы,—приветствовал Глеб.

— Здравия желаем!

— Стоять вольно, шапки долой!

Бригадный священник надел золотые доспехи и начал служить молебен. Из задних рядов слышен злой шопот:

Что ты отче толстопузый,
Расскажи-ка, людям врешь,
И какие муки ада
Беднякам ты отдаешь?

В хрустальном воздухе неслось протяжное, монотонно-торжественное пение во имя успокоения жестокого и ненасытного бога. Выполнялся бессмысленный, потерявший свою душу, обряд. Непослушная риза упрямо топорщилась на спине священника и был он похож сзади на расшитую золотом восковую куклу. Глеб крестил подбородок, наклонив коротко остриженную голову и опустив пышные, праздничные усы.

Мороз крепчал под негреющим солнцем. Пушисто-белый неподвижный лес поднимался вокруг холодной декорацией.

Пропели победу христолюбивому воинству, провозгласили многолетие коронованному ничтожеству, и все стали подходить к кресту. Это было как раз кстати, чтобы немного согреться от равнодушного к человеческим праздникам мороза.

Мягко зашуршали шапки по команде „накройсь", и торжество должно было кончиться, но не тут-то было: священник неожиданно вышел на середину и начал речь:

— Сегодня мы празднуем день Николая чудотворца, великий день для всех православных, и это торжество совпадает с вашим батарейным праздником. Преисполнимся же радостным настроением, забудим обиды, что получали мы от ближних, будем смиренны и терпеливы, как отец наш небесный...

Полилась длинная напыщенно-пустая речь, мелькавшая, как бесконечное полотно. Заикаясь, растягивая слова, священник увлекся, забыл о морозе и не замечал утомления солдат. Глеб нетерпеливо поглаживал пышные усы, мысленно посылая «батьку» ко всем чертям.

— Если этот день,—продолжал оратор,—мы проводим на фронте, в боевой обстановке, то мы должны пом-

нить о чувстве ответственности перед родиной. Вы, солдаты, и ваши доблестные начальники выполняете священный долг, защищая отечество от сильного и опасного врага. Нужно довести до конца тяжелую войну, нужны еще жертвы, но мы будем кротки, терпеливы и мужественны—и будем с божьей помощью переносить все невзгоды. Будем воевать до победы, до окончательной победы, пока не сломим неприятеля. Да благословит вас бог!

Довольный своей речью, священник отошел в сторону.

— Поздравляю славную третью батарею с праздником,—громким уверенным голосом сказал Глеб.—Мы уже третий раз встречаем этот день на позиции, но я знаю, что дух славной батареи не падает, что с каждым годом мы становимся все сильнее и крепче. Недавно получили новое обмундирование, у всех есть телогрейки и теплое белье, я вижу на всех новые папахи и вот стоит мороз, а он нам не страшен. Родина думает о нас. Пусть немцы еще держатся два—три года,—нам они ничего не сделают, и как ни старайся, а им нас не осилить. К нам придут новые пополнения, и как раньше мы исполняли свой долг, так будем исполнять до конца. Нужно будет защищаться, мы не отступим шагу, а если прикажут наступать, мы пойдем все, как один. Аэропланы, колючая проволока и газы нас не остановят, потому что с такими солдатами, как в нашей батарее, и во всей русской армии, воевать можно до конца. Ура!

Казенным шумом прокатилось по рядам:

— Ур-ра-аа-а!... Ур-ра-а-а...

— За здоровье нашего славного командира бригады генерала Скерского,—разошелся Глеб.—Ура!

— Ура-а-а... Ура-а-а...

Командир бригады, низенький добродушный старичок, сделал несколько шагов. В большой фуражке и длинной шинели он был похож на гриб. Пожав руку Глебу, он повернул к строю бритое улыбающееся лицо.

— Ребята, я рад присутствовать на вашем празднике и хочу сказать вам несколько слов. Третья батарея всегда была образцовой, но я вижу теперь, что она такой останется до конца. Мы воюем вот уже почти три года, а духом у нас никто не падает, и все готовы воевать дальше, пока не победим. Вот я смотрю на вас: экие все молодцы, один к одному, настоящие богатыри, чудо-богатыри... Никакой враг нам не страшен! Да что там три года,—воодушевился Скерский,—нужно будет, мы не то, что три, а еще будем воевать пять, десять, три... тридцать лет,—сорвался он высокой нотой,—и останемся такими-же вот-молодцами и добьемся победы. За славную батарею, за победу, ура!

И опять покорно пронеслось в бесстрастных рядах:

— Ура-ура-а-а...

В офицерской группе оживленно приветствовали генерала.

— С песнями по землянкам,—скомандовал Глеб.

Если бы Глеб или „отец Паисий" или Скерский знали „Солдатский Вестник" и узнали-бы, какое впечатление произвели на солдат воинственные речи, у них мог-бы испортиться аппетит. Но солнце играло на снегу, молебен кончился, спирт „отца Паисия" был готов к употреблению и казалось, что у солдат такой-же настоящий веселый праздник.

— По фунтовой порции сегодня получают, это первое удовольствие, да белый хлеб, да вино,—что еще нужно человеку? Домой захотелось, ну, простите, на то война, а мы—солдаты!

В просторной землянке у Глеба начался шумно-праздничный и звонко-веселый обед. Пружинясь по низким порогам гитары, неслась беззаветная удалая песня:

С времен давным-давно минувших,
С преданьев иверской земли,
От наших предков знаменитых
Одно мы слово унесли...

В солдатских землянках стлалась злая печаль,—молебен отравил больные сердца.

— Как, сукины дети, над нашим братом издеваются!—страстно возмущался Москалев, которого особенно взволновали речи.—А Скерский-то разошелся: вы, говорит, доблестные солдаты, чудо-богатыри, вроде, значит, Суворова, и еще тридцать лет повоюете... Ах, сволочь такая! Тоже за голенищу залезает:—чудо бо-га-ты-ри... А какие тут богатыри, когда все силы мы растеряли и кровей тех уж нет!

— Это ты виноват, Васяка,—усмехается ласковый Костя.—И еще поп. У тебя ряжка-то здоровенная, в три дня не оплюешь, и на морозе стоишь, как мартовский кот, а попу балакать захотелось. Вот с этого и пошло.

— Брось о пустячках, Костя: тут душа болит, понимаешь? Терпенья нет!

— А я смотрю—поп речь начал: то да се, да праздник, да Христос велел, а куда подвел, длинногривый чорт!

— Прямо насмешку делают над нашим братом и лучше-бы мне в глаза прямо наплевали, чем слушать такие речи: это что, говорит, три года, это пустяк, а вот обратно тридцать лет еще повоюете и всегда будете молчать...

— Это нашего брата на пушку берут: что, мол, как они? А они, как овцы: ура и ура.

— Ну, а что-ж ты будешь делать? Куда-ж теперь деваться?

— Ку-да? Надо, братишка, головой ворочать и мозгами шевелить.

— А ты ура не кричал?

— Я-то? Мы, дружок, с тобой оба серые, а я к тому говорю, что тут надо чегой-то мозговать...

— Думка у каждого солдата одна: кончать войну, и мы так желаем, а они, слыхал, о чем напевали?

— Поднесли к праздничку, нечего сказать. Главная вещь, я думал, они чего хорошего скажут—какого-нибудь слушку, или чего обдумали насчет замиренья, а тут как вякнул Глеб про победу, так все нутро у меня замутило. Значит, три года страдали и теперь обратно начинай с того-же места...

— С таким командиром кашу не сваришь: им нужна война, а мне нужно домой. Выходит, значит, так: до свиданья, ваше благородие, и пусть с вами бог, а со мной баба на печке. Я зальюсь на Курск, и ваших нет. А мне говорят: так часто не езди, а поворачивай оглобли и становись до победы...

— А мы не желаем!

— А им на тебя начхать!

— На одном месте плясать все здоровы,—мрачно говорит Кирюша, кашляя от крепкого табаку.—До тех пор ничего не будет, пока дурачки сами сами за ум не возьмутся. И найдется такой умный человек—там брат, есть! Скажет он настоящее слово: тогда у всех дурь из головы выйдет и войне крышка. Побрехать-то каждый умеет, а как дело делать, так в кусты. Но послушайте мою дурацкую речь: чегой-то скоро будет. Вот и все. Тогда вспомните Кирюшу кузнеца!

Плавал от махорки голубой дым, и кружила по землянкам гнетущая злая печаль.

Над лесом раскинулась темная ночь. Редкими хлопьями падал снег, отливая серебром в полосе дрожащего огня.

Надвигалась неслышными шагами первая сокрушающая метель...

1

о

д

г

г

и

я
и
п
г

в
д
б
г
и

г
п
н
б
д
к
с
В

ОГЛАВЛЕНИЕ.

